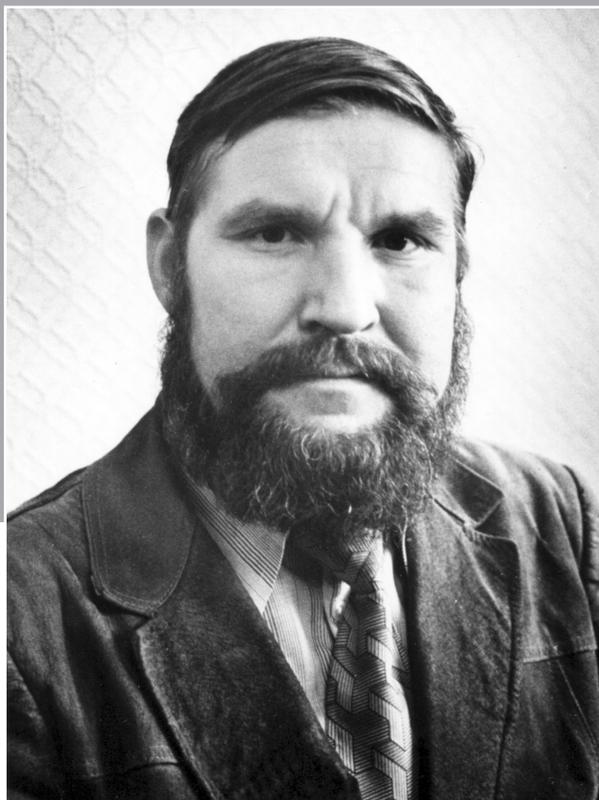


72



Гарай Рахим
(Радионов Григорий
Васильевич) –
народный писатель
Татарстана, лауреат
Государственной
премии РТ
им. Г. Тукая.
Автор более трёх
десятков книг.
В этом году поэту
исполняется 80 лет.
От всей души
поздравляем
юбиляра!

ПОВЕСТЬ

Писатель 1980-х

Гарай Рахим

Кряшенские ДЕМЭКИ

Предисловие

ДЕМЭКИ – по-татарски «дәмәкләр», то есть «мәзәкләр» (юмористические сказания, анекдоты). Демэки в основном являются фольклорными сказаниями кряшён (крещёных татар).

Официальное наименование моей родной деревни – Федотовка, но жители называют её «Аналык», то есть «деревня матерей». Под таким названием деревня значилась во второй Российской ревизии 1748 года. Население Аналык состоит из тюрко-язычных кряшен. Кряшены, сохранив и законсервировав в себе некоторые старинные, возможно, ещё доисламские обычаи, отголоски верований тенгрианства, упорно цепляются за свою исконную тюркость, то есть тюркоязычность татарского народа. Причём, проявляется это упорство порой очень оригинально. Например, все заимствования подвергаются в кряшенском говоре сильной тюркизации, особенно в области фонетики. У множества тюркоязычных народов исторически отсутствовали звуки «ф», «в», «х» и «һ», которые перешли в татарский язык вместе с религией ислама от арабов и фарси. Кряшены при разговоре до сих пор эти звуки заменяют звуками «п», «б», «к». Поэтому они вместо имени Фатима говорят *Патима*, Фатых переделают в *Патик*, Христос – *Кристус*, колхоз – *калкуз*, хач (крест) – *кач*, дэфтәр (тетрадь) – *дәптәр* и так далее. Ну, просто не умеют кряшены говорить по-другому, язык – орган, который находится во рту, видимо, так у них приспособлен. Или, наоборот, не приспособлен к чужеродным звукам.

Как бы то ни было, кряшены, как и все уважающие себя тюрки, никогда не начнут говорить и писать с букв «р» или «ст». Это противоестественно древнетюркскому языку. Поэтому слово «рәсем» («рисунок») они произносят как «эрәсем», «рәхәт» («удовольствие») – как «ыракатъ», «рама» – «ырам», «стакан» – «ыстакан». А с личными именами кряшен вообще полный маскарад. Как известно, кряшены имена носят христианские, перенятые через русский язык. Но удивительно, какой поистине высокохудожественной литературно-фонетической обработке они подвергаются! Посудите сами: Гурьян по-кряшенски будет «Гүржән», Прокопий – «Күпей», Ульяна – «Үлүк», Арина – «Үркәй», Родион – «Ырадибан» (стало быть, няню Пушкина на кряшенский лад назвали бы «Үркәй Ырадибан кызы» (то бишь Арина, дочь Родиона), Кристина – «Керечтей», Костя – «Күчтә» Корнелий – «Курыый», Антон – «Унтыый», Татьяна – «Татук», Ефим – «Жәпей», Лев – «Элүп», Терентий – «Терәтей», Кирилл – «Киркук» или «Кируш», Дарья – «Дарджа», Мария – «Маржа» и так далее.

В каждом селе обычно бывает по несколько человек с одинаковыми именами. Аналыкцы в этом смысле не исключение. Но у нас издавна находятся мастера придумывать разные варианты одного имени, и первоначальное христианское имя подвергается двойной тюркизированной обработке. Скажем, если в деревне проживают два Кузьмы, то одного из них назовут «Кәжмә», а другого – «Кәжей». Один из Афанасиев будет откликаться на имя «Апанас», другой на имя «Әппин». Два Константина разделяются на «Кечтәтей» и «Күчтей». Из двух Анастасий одна станет «Начта», другая – «Начтук».

Если одно имя в деревне носят более двух человек, кряшены включают вторую и третью скорость своей фантазии. Например, раньше в Аналыке

было много женщин с именем «Александра». И что? Каждая из них носила свой вариант имени, и никто в деревне не путал её с другими «тёзками». А пять Александр звали соответственно «Әләксандыра», «Сандыра», «Санук», «Сандырый» и «Әләч». Четверо Григориев с гордостью носили свои кряшенские имена: «Гөргөри», «Гүри», «Герүк» и «Гөрей». Меня, по паспорту Григория, в деревне до сих пор называют «Гөргөрей».

Человеку, впервые попавшему в нашу деревню, в диковинку, конечно, слушать «странный» говор кряшен. Однако я считаю, что язык кряшенов представляет собой чудом сохранившийся осколок исконной, древней тюркскости татарского народа.

В каждом селении обязательно живёт хотя бы один местный «чудной» старик. Вообще-то, таких словоохотливых, острых на язык «летописных» старцев бывает по несколько человек в каждом более-менее крупном селе. Триста шестьдесят восемь лет татарский народ прожил без государственности, но в 1920 году в составе СССР образовалась Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика (ТАССР), 100-летний юбилей Республики отпраздновали в 2020 году. За это столетие из Аналыка, расположенного в Закамье, бурно развивающаяся промышленность в лице КамАЗа, ЕлАЗа, разных нефтеуправлений, химзаводов и прочих прелестных сооружений воссала в себя почти всё совершеннолетнее население нашего села. По вышеперечисленным и, вероятно, весьма понятным причинам в Аналыке остались в основном «летописные» старцы, наиболее ярким представителем которых был «Жәгүр-дәдәй». Для лёгкости восприятия русскоязычного читателя назовем его «Джагур-дедей», то есть дядя Егор. Полностью и официально его звали Кузьмин Егор Григорьевич. «Особо приближённые» сельчане называли его ещё двусложным именем «Үркәй Жәгүре», то есть, в переводе с кряшено-тюрко-татарского «Аринин Егор» или «Егор, сын Арины». У татар и кряшен очень почитают мать, поэтому при обращении к человеку часто упоминают имя его матери, а не отца.

Итак, Джагур-дедей был одним из самых известных жителей Аналыка. Что интересно для нас – он и его односельчане жили и трудились именно в первой половине XX века, то есть были современниками первой половины 100-летия со дня образования ТАССР. Я с удовольствием посвящаю данную повесть этому юбилею. В те годы Джагур-дедей не только выглядел бодро, но считался мастером на все руки. Он славился в округе как искусный швея, печник, плотник и пасечник. Джагур-дедей собственноручно чинил старые немецкие швейные машинки «Зингер», а по желанию заказчика мог перевести эти машинки на ножной ход. Причём делал эти механизмы не на станке (откуда ему взяться в деревне), а с помощью таких простых орудий труда, как молоток, напильник, плоскогубцы, ножовка, а также изобретённых им самим же хитроумных приспособлений.

Много лет Джагур-дедей работал бригадиром колхозных пчеловодов. Воевал, участвовал во многих знаменитых боевых операциях Великой Отечественной войны, награждён Орденом Красной Звезды и кучей медалей.

Мало, кто в нашем ауле мог соперничать с Джагур-дедеем в певческом искусстве. Как только он затянет старинные, протяжные на пентантонической основе кряшенские песни, к нему тут же присоединяются его жена Улюк Джинги (Үлүк Жиңги) и его сёстры Пикла



(моя мать Фёкла) и Супый-түти (тётя Суфия). Часто они исполняют такие песни, которых не услышишь нигде в мире, кроме Аналыка.

В то же время Джагур-дедей был настоящим проказником, балагуром, шутником и весельчаком, неистощимым на выдумки, байки, анекдоты и разные занимательно-забавные истории. Он не только сочинял, но и собирал, обрабатывая на свой вкус интересные истории и события из жизни нашей деревни и окрестных сёл.

«Вчера ходил на концерт, было очень демэкно, – скажет кряшен и добавит, – вот послушайте один демэк».

Так рождались демэки, которые при устном пересказе Джагур-дедея достигали красоты рассказов Ходжы Насретдина. Некоторые из этих демэков я предлагаю вниманию читателей. Передаю рассказы в его лице почти в неизменённом виде. Правда, при создании данной повести мне, как профессиональному писателю, пришлось придерживаться норм литературного языка, кроме того, я позволил себе немного фантазии, свойственной любому писателю.

Итак, милости просим на огонёк кряшенских демэков.

76

демэк первый

Икона

В двадцатых годах прошлого века первым секретарём только что образованной комсомольской ячейки в нашем селе стал «Үкчей Бэчкәсе», то есть Василий, сын Аксиньи.

Жили они очень бедно. Вчетвером – сам Василий, его жена Пикыла (Фёкла), мать *Үкчей* (Аксинья) и старший брат Василия *Гәргәри* (Григорий) – ютились в крошечном, не больше бани домике. Документ о жилой площади этой «бани» до сих пор хранится у среднего сына Василия. На этих квадратных метрах находились печь, стол и сакэ (низенькая лежанка). Я до сих пор гадаю, как же влезали в эти «апартаменты» четверо проживающих там взрослых людей? Уму непостижимо. Поэтому, когда слышу сейчас от кого-нибудь жалобу на «маленькую кухню», «тесную прихожую» или «маленький балкон», перед глазами встаёт крошечная лачуга бедняги «Бэчкә», сына «Үкчи».

Дело в том, что Василий женился на моей сестрёнке Пикыле (Фёкле), а вот

его старший брат Григорий, насколько я помню, так и не обзавёлся семьёй, хотя слыл первым парнем и гармонистом на деревне. Не успел жениться, бедолага. На фронт ушёл с гармонью под мышкой, а вскоре пришло извещение о его героической гибели. И фото, где он изображён со своей неразлучной гармонью. Спустя годы после окончания войны от пионеров одного украинского села пришло трогательное письмо, в котором писалось, что Григорий погиб, защищая их село, и что сельчане помнят героя и ухаживают за его могилой.

Ещё до эры комсомольских ячеек и прочих прелестей советской жизни Василий нанимался пастухом в соседнее татарское село Сарабиккулово, где и проживал какое-то время. Но когда начались перемены, он вернулся в родную деревню и сколотил комсомольскую ячейку из трёх человек. К счастью, в то время в Аналыке не было ещё ни одного коммуниста, и ни один человек хотя бы в общих чертах не мог себе пред-

ставить, кто такой коммунист и с чем его едят. Так что власть в наших Аналыках на первых порах захватил комсомол. Видимо, комсомольская ячейка села была довольно сильной, иначе о ней не написали бы в газете «Кызыл Татарстан» с упоминанием имени и фамилии нашего славного Бэчкә.

Когда Василий женился на Фёкле, жить им вместе с остальными в крохотной хижине стало просто невозможно, тем более что живот у Фёклы рос не по дням, а по часам. Поэтому сельсовет решил выделить молодожёнам во временное пользование один из домов выселенных «кулаков». Поначалу Василий противился, причём его доводы были скорее морально-этического плана. «Как же так? – вопрошал он. – Раскулаченные – это мои односельчане, а я бывший их дом захапаю? Что обо мне в деревни подумают, а? Нет, так не годится, не по совести это». Но время не ждало – пузо Фёклы чуть ли не упиралось в подбородок, и молодая чета въехала-таки в пустовавшие кулацкие хоромы, презрев на время нравственно-моральные соображения. До самой войны Василий с семейством так и проживал в этом доме, потому как из-за важных общественных дел не хватало времени на возведение собственного «шалаша», да и мизерные финансы не позволяли замахнуться на строительство. С началом войны Василий ушёл на фронт, и Фёкла осталась одна с тремя детьми. Василий служил в частях связи и опутал телефонными кабелями не меньше пол-Европы. Накануне какого-то генерального наступления он вместе с другими солдатами написал заявление с просьбой принять его в партию. Он выжил наперекор всему и вернулся в родное село уже кандидатом в члены партии Василием Семёновичем.

При Советах в Аналыке образовались две большие организации: колхоз и промартель. Артель занималась изготовлением мебели, тележных колёс, варкой дегтя из берёзовой бересты, плетением арканов, заготовкой рогожи, мочалок и прочих полезных изделий деревенской промышленности.

Артельное хозяйство разрасталось, и в одно время оставило в своей тени даже колхоз, став доминировать в сельской экономике. Артели оказывали существенную помощь и поддержку «из центра», поскольку производимые в ней товары пользовались большим спросом у населения, а значит, нужны были стране.

Учитывая прежнюю комсомольскую активность и нынешнюю партийность Василия, власть назначила его председателем артельного хозяйства. При Василии Семёновиче артель развивалась семимильными шагами, производила много нужных стране товаров. В Аналыке и окрестных сёлах было немало мастеровых людей. В свою очередь районные власти завозили в артельный магазин необходимые для деревенских жителей товары. А вскоре все дома в Аналыке «скутили» свои соломенные крыши и покрылись остатками липовой коры и лыка, из которой выделявали мочалки. «Липовая» кровля оказалась ничуть не хуже шифера. Длинные, широкие полосы липовой коры в несколько слоёв настилали на крышу дома, а по бокам укрепляли массивными длинными жердинами. Получилось красиво, прочно и относительно безопасно в противопожарном смысле. Особенно при сравнении с прежними соломенными кровлями.

Таким образом, в первые послевоенные годы наша деревня стремительно меняла соломенные крыши на «липовые». Наконец Василий нашёл время и возможности для возведения собственного семейного гнезда. В 1948 году он построил не очень большой, но крепкий дом-пятистенок, после чего счастливо зажил в нём вместе с четырьмя детьми и женой, получившей к тому времени зачатки начального образования в Школе колхозной молодёжи (ШКМ), где кое-как освоила латинскую графику или яналиф, как тогда называли новотатарский алфавит.

Но вскоре былая слава и мощь артели пошла на убыль. Во-первых, производство кустарных изделий перевели на промышленно-массовую систему, во-

вторых, начиналась эра экономического развития колхозов и совхозов. Таким образом, власть в деревне постепенно перешла к колхозному правлению, и вскоре колхоз поглотил артель. Василия не забыли и за былые заслуги назначили председателем колхоза. Теперь он то и дело разъезжал на «служебном транспорте» – тарантасе по колхозным угодиям или отправлялся в районный центр Шугурово обивать пороги многочисленной начальственной челяди.

Со стороны казалось, что Василий и Фёкла жили в мире и согласии, однако, между ними пробежала кошка, и весьма своенравная. Дело в том, что все кряшены держали в своих избах православную икону. В какой кряшенский дом ни зайди, обязательно увидишь икону в углу, смотрящем на восток. И дело тут не в излишнем религиозном рвении. Кряшены видят в иконе не только, а может, и не столько предмет религиозного культа, сколько необходимый предмет домашнего украшения, объект, на котором можно продемонстрировать свои таланты резчика по дереву или искусной рукодельницы. Хозяин любовно вырежет раму, украсив её причудливыми узорами, а хозяйка вышьет такие занавесочки, что просто ахнешь от восхищения. Сама икона небольшая, чаще величиной с ладонь, просто-напросто терялась в глубине и на фоне этих изощрённых узоров, вышивок, ажурных занавесок и прочих украшений. Словом, избу красит не столько икона, сколько угол, где она помещается. Это своего рода музейный этнографический уголок.

Именно из-за иконы и вышел конфликт между партийно-хозяйственным руководителем Василием Семёновичем и его малограмотной женой Фёклой. Как первый комсомолец деревни Василий был отъявленным безбожником, активным членом общества атеистов, и первое, что он сделал, вселившись в некогда пустовавший дом кулака, выкинул вон из хаты икону вместе со всеми остальными сопутствующими «реакционными элементами» типа занавесочек, свечей, ладана и прочих причиндалов. Тогда Пикыла стерпела и не скандали-

ла. Всё-таки это был не их дом. Но когда они построили свой дом, в который немалый труд вложила сама Пикыла, она потребовала мужа вернуть икону в дом. И нашла коса на камень. Доводы Пикылы выглядели просто и, на первый взгляд, убедительно: все кряшены держат дома иконку, значит, и у Пикылы должна быть икона. Чем она хуже других? В конце концов, перед односельчанами неудобно. Да и пусто как-то в избе без заботливо украшенного священного угла. А тут ещё старухи говорят: «В дом без иконы обязательно ударит молния, проникнет болезнь и другие напасти, да нечистая сила, а хранитель очага – домовый сбегит из такого дома, не сумеет защитить хозяев от всяких превратностей». И вообще, в голове у Пикылы не умещалась даже сама возможность неприятия Бога.

Василий с женой не пришёл и к согласию в вопросе крещения детей. В конце концов, Пикыла приняла единственное, как ей казалось, верное решение. Когда муж уехал в Казань на собрание передовиков сельского хозяйства, в деревню тайно прибыл «незаконный» поп. Попробовал бы он или кто-нибудь из «бывших» приехать, когда в деревне находился Василий и правил народом железной рукой. Как бы то ни было, Пикыла, ни с кем не советуясь, повела двоих из четверых детей к попу, чтобы их окрестили и оросили святой водой. Вернувшийся из Казани Василий, увидев на шее детей православные крестики, взбеленился. «Ну ладно, крестила ты их, – сказал он потом со вздохом. – Прошлое уже не воротишь, но хотя бы не носите на шее эти свинцовые пестики, не такое сейчас время на дворе, да и для здоровья свинец вреден». Надо сказать, что попы тогда действительно плавляли свинец в специальных формочках, выливая крестики и продавая их в русских и кряшенских сёлах.

Словом, Пикыле влетело от мужа, но и она не лыком шита, выдала заранее подготовленный ответ: «Я всё сделала по чести и справедливости, разделила детей поровну, и крестила двоих своих. А твоих я не трогала, пусть ходят без крестиков, как юные коммунары».

Василий негодовал ещё дня два-три, а затем примирился и утих.

А теперь Пикыле захотелось икону, и она принялась методично «пилить» мужа, требуя желаемое: «Привези иконку, а рамку Джагур сделает!» Но Василий упёрся. «Какая ещё икона, к ядрёнефене? Разве я не коммунист?! За кого ты меня принимаешь, баба, если думаешь, что я, будучи партийным, повешу в доме икону?» – втолковывал он ей. Но Пикыла бубнила своё: «Да ты и не смотри на неё, раз уж нельзя тебе. Ради детей хоть иконку принеси, да чтобы соседи худого слова не сказали». Василий игнорировал её слова, не принимал их всерьёз и смеялся над слепой верой жены в разные приметы, заговоры, заклинания и прочие колдовские чары. А Пикыла, как и многие деревенские бабы, искренне верила, что если, скажем, чешется нос – быть покойнику, засвербит в ухе – жди пургу, чешется ладонь – будут деньги, ну и так далее. Василий, как человек, можно сказать, новой формации от души потешался над этими предрассудками. «Лапочка, – ласково говорил он жене, – если бы всякий раз, когда ты чешешь свой упрямый носик, в деревне умирал человек, мне бы давно нечем было руководить. Если б при каждом шевелении в твоём ухе на деревню налетала метель, вся округа превратилась бы в громадный сугроб! И вообще, уши почаще мыть надо, голубушка. Что ещё? Ах, да... Если бы каждый зуд в твоих прелестных ладошках оборачивался звонкой монетой, наш колхоз давно бы стал миллионером».

Пикыла терпела насмешки мужа, но от своего не отступала. Она «пилила» Василия методично, терпеливо, день за днём, час за часом. Когда муж в очередной раз засобирался в райцентр, она снова пристала к нему с просьбой об иконе, дескать, рядом с райцентром находится деревенька, где продают иконы, и Василий должен обязательно вернуться домой со святым образом. Он от возмущения не знал, что и сказать, ведь уже все доводы и справедливая критика в адрес «невежественной» жены были им давно и неоднократно высказаны.

Василий, однако, крепко задумался, а потом, видимо, придя к какому-то решению, махнул рукой:

– Ладно, уговорила, Пикыла. Пусть будет по-твоему. К вечеру привезу икону.

Пикыла была на седьмом небе от счастья. Как только муженёк уехал по своим начальственным делам, она тут же побежала к соседкам хвастаться: «Мой Бэчкэ сегодня икону привезёт, новый дом освятим!»

Потом прибежала ко мне и заверещала: «Джагур, бросай все свои дела и сделай красивую рамку для иконы, которую Бэчкэ сегодня к вечеру привезёт!» Я не знал, верить ей или нет, но на всякий случай согласился сделать, всё-таки сестрица, кровь родная. «Ладно, – говорю, – постараюсь до завтра вырезать рамку».

Весь день Пикыла с необычайным воодушевлением и нетерпением ждала возвращения мужа. Впрочем, не просто ждала, сложив руки. Она заново вымыла и выскоблила избу, навела идеальный порядок, повесила на окна новые занавески, одела детей во всё новое, зарезала курицу и сварила наваристую лапшу.

Наконец, Василий приехал, держа под мышкой большой четырёхугольный свёрток. «Наверное, большая икона, – подумала Пикыла, – а может быть, её уже вместе с рамой продали». Она даже загордилась, что «её» икона будет побольше, чем у соседей. Лицо улыбающейся Пикылы сияло неподдельной радостью.

И вот наступила торжественная минута извлечения иконы из свёртка. Показалась красивая, вроде даже позолоченная рама. Пикыла перекрестилась, пригляделась к «образу» внимательней и ахнула: на неё по-отечески сурово смотрел великий вождь всех времён и народов – товарищ Сталин!

– Смотри на своё божество и молись на него! – довольно произнёс Василий, приколавивая портрет на видное место между двумя окнами.

Да, Василий был беззаветно предан всему, чему верил...

ДЕМЭК ВТОРОЙ

Повозка дров

80

В трудные послевоенные годы Василий как мог пособлял своим односельчанам, был прост в общении, и за это в деревне его уважали. С председателем сельсовета разногласий у него не случалось. То, что говорил один председатель, было законом для второго, и наоборот. Распоряжения друг друга они никогда прилюдно не обсуждали, то есть не роняли честь своего соратника.

В те годы колхозникам особенно нелегко давалась заготовка дров на зиму. К тем, кто рубил лес без разрешения *стрелока* (лесничего), применялись жёсткие санкции. И всё же у жителей Аналыка находилась удобная «лазейка» в трудном дровяном вопросе. Дело в том, что на самом краю колхозных угодий, в местечке под названием Колмаксары («Колмак» по-татарски «хмель», а местечко это славилось зарослями хмеля) густо разросся молодой дубняк, не входивший в государственный лесной фонд, то есть хозяином этих дубрав был колхоз, а не лесничество с его суровыми *стрелоками*.

И колхоз, и сельсовет заготавливали для своих нужд «колмаксарское» топливо, используя обычно ветви, искривлённые, больные деревья и сухостой. Иногда и жителям милостиво разрешалось собрать телегу сухостоя. Естественно, для этого нужно было получить разрешение одного из председателей – колхоза или сельсовета. В то время у руководства молодого колхоза ещё не привилась мода на бюрократию, на разные накладные и прочие бумажки. Достаточно было устного разрешения начальства, и никто в селе даже в мыслях не допускал возможности каким-то образом нарушить или хотя бы подвергнуть сомнению священное председательское слово. Именно эта вера од-

нажды обернулась для председателей казусом... Однако всё по порядку.

В каком-то, не помню, году заготовленных мной дров почему-то не хватило. Весна уже шла к концу, когда жена истопила в печи последнюю охапку поленьев. В домашнем хозяйстве, надо сказать, было много живности – корова, овцы, гуси, куры, да и вся семья хотела есть-пить. А для приготовления даже простейшей похлёбки нужно вскипятить воду, затопив печь. М-м-да, непростая это задача, учитывая отрицательное дровяное сальдо в нашей отдельно взятой домовой экономике. Оголодавшая коровёнка с жалобным мычанием тёрлась слюнявой мордой о дверь избы, в доме галдели прожорливые дети, а мне некуда деться от наждачных причитаний жены. Дескать, у всех мужья как мужья, дрова заготавливают на две зимы вперёд, а мой оболтус и ротозей не смог наскрести веток, чтобы хотя бы до весны хватило. Стыд и срам! В попытках самооправдания мне пришлось вспомнить золотое правило: нападение – лучшее средство защиты. То есть я стал попрекать жену в ответ, что она весьма расточительно, по-барски палила день и ночь топливо, заготовленное мной, между прочим, в поте лица и в предостаточном количестве, во всяком случае, ничуть не меньше, чем у других. Но что толку в словесной перепалке, разве от этого появятся дрова? Нужно немедленно идти к Василию и просить у него разрешения на рубку колмаксарского лесоматериала, а заодно и лошадь с телегой выклянчить.

Сказано – сделано. Однако Василий огорошил меня. «Джагур, потерпи хотя бы месяц, – сказал он, – в колхозе работы выше крыши, не успеваем справляться, сам знаешь, весенняя страда

идёт, когда один день год кормит». Я понимаю, что председателю не дров жалко, а лошадь, которой могу воспользоваться лишь поздно вечером. А после ночной работы лошадь никуда не годится, отдых нужен весь день. Объяснить бы Василию, что в моём дровянике не осталось ни одного полена, но стыдно признаться. Он может запросто обвинить меня в лени и бесхозяйственности, а я уж и так по горло сыт упрёками жены. В общем, ушёл я от председателя не солоно хлебавши, но задумал смелую, хотя и небезопасную, операцию.

В тот же день, отправляясь на полевые работы, я захватил с собой топор. Вечером, отстав от возвращающихся домой колхозников, поспешил в Колмаксарскую дубраву и с помощью топора и страха быстро нарубил такую кучу дров, которую не всякая телега вместит. Домой я пришёл лишь под утро, уставший, но довольный, а в начале дня упрямил бригадира поставить меня на работы в Колмаксаровском стане. Бригадир – человек свой, не отказал. Таким образом, я направился в «ставку» бригады, но прежде запряг лошадь и отвёл её к себе во двор, чтобы вволю накормить вкусными картофельными очистками и остатками супа. Попутно придумал хитрость, как вечером вместе с лошадью отстать от других и вывезти из леса заготовленные дрова. То есть я готовился совершить две кражи: дров и лошади. Словом, расхититель леса и «Шакур-карак»* в одном лице. Была не была!

Во время работы я тайком от других старался дать лошади отдых, подкармливал её молодой зеленью. Наконец, объявили о конце рабочего дня, и тут я приступил к исполнению преступного замысла – ослабил узел хомута, хотя сделать это было нелегко (казалось, кто-то затянул этот узел навечно), в результате моя лошадь быстро «распряглась». Я притворно сокрушился и сказал товарищам, что мне необходи-

мо отремонтировать хомут и заново запрягать лошадь, так что пусть меня не ждут, а отправляются домой, а я после доставлю лошадь в конюшню. Колхозники со мной согласились и пересели на другие подводы. Как только они скрылись из виду, я быстро затянул хомутный узел и поспешил в лес за дровами.

Пришлось напрячь все силы, чтобы управиться засветло. Закрепив свою поклажу арканами, я поехал домой. И надо же было случиться такому несчастливому совпадению, вернее, невезению, только проехал немного по большаку, как увидел мчащийся навстречу тарантас председателя Василия. Он решил проверить состояние дел на колмаксаровском участке трудового фронта. Увидев мой груз, председатель обо всём догадался и, что называется, закусил удила:

– Я что тебе сказал, гражданин Кузьмин? Я велел тебе прийти через месяц! А ты, не получив разрешения, осмелился на кражу леса!

Признаться, я порядком струхнул, особенно когда он назвал меня не Джагуром, как обычно, а «гражданином Кузьминым». Тоже мне гражданином... Председатель чёртов... Не чужой ведь человек, родственник, как-никак, муженёк моей сестрёнки. Однако сильно он, видимо, осерчал на мою особу. И тут вдруг меня осенило.

– Почему без разрешения? Разве можно без спросу? – солгал я с самым невинным видом и даже глазом не моргнул.

Василий слегка растерялся. Он же прекрасно помнил, что ещё день назад отклонил мою просьбу.

– Как так? Не пойму... и кто же разрешил?

– Как кто? Председатель сельсовета! – продолжал беззастенчиво врать я. – Сказал, что у меня не осталось ни одного полена, вот он и разрешил нарубить дров.

После этих слов лицо Василия посветлело, грозные морщины разгладились, и председатель пустил своего жеребца, крикнув на ходу:

* «Шакур-карак» – широко известный до революции конокрад.

– Гляди у меня, не загони лошады!
– Не беспокойся, я накормил её картофельными очистками, товарищ председатель! – почтительно прокричал я вслед своему сиятельному родственнику.

По дороге домой страх всё более охватывал мою грешную душу: а если Василий спросит председателя сельсовета обо мне, и обман раскроется? Что тогда они со мной сделают? Однако отступить было уже поздно, тем более что сейчас важнее обеспечить домочадцев топливом, нежели искать ответ на извечный вопрос: «Кто виноват, и что делать?» Даже если обман завтра раскроется, не будут же они отнимать у меня несчастный возок дров! Ну а я, как водится, покаюсь, поплачусь, как говорится, склонённую голову меч не рубит.

С такими вот далеко не радостными мыслями приближался я к деревне. Уже стемнело, луна не показывалась из-за туч, что, как известно, на руку любому вору. Тайком я пробирался по селу. Вот уже показался наш переулок, ещё немного, и...

– Кузьмин! А ну, погоди! – послышался сзади хриплый голос председателя сельсовета.

Пропала моя бедная головушка! Ослабевшими от страха руками я натянул поводья.

– Кто разрешил тебе лес вывезти? – строго пытал меня председатель.

«Эх, раз живём!» – пронеслось у меня в голове, и я обречённо брякнул:

– Председатель колхоза разрешил.

Глава сельсовета задумался, лица его не было видно в темноте, и я не мог определить, поверил ли он. Наконец, минуты через две председатель произнёс также хрипло, но уже мягче:

– А-а-а... тогда лады, ступай домой.

И пошёл своей дорогой...

Я уже говорил, что оба председателя чрезвычайно уважали друг друга и доверяли во всём, и, между прочим, испытывали такое же чувство ко мне. Зная, что я ни разу за свою жизнь не солгал, не обманул, никто из руководителей и не думал сомневаться в подлинности моих слов, и тем более спрашивать о том, правда ли его коллега дал разрешение Джагуру на вывоз леса.

Таким образом, мне удалось обрести авторитет обоим начальникам в свою пользу, став обладателем целого воза дров и восстановив перед домочадцами собственный, слегка пошатнувшийся авторитет.

Когда спустя много лет я рассказал эту историю обоим председателям, они долго и с удовольствием смеялись.

демэк третий

«Пожар загорелся»

Пожары во все времена приносили человеку неисчислимыя беды и страдания, что на селе, что в городе.

Но подлинной трагедией становились пожары в деревнях. Несчастные погорельцы, если и оставались в живых, то в подавляющем большинстве не могли самостоятельно встать на ноги, заново обзавестись домом, хозяйством,

скотиной. Они в одночасье становились нищими. Правда, раньше в деревнях был обычай помогать погорельцам «миром», хотя крестьяне жили крайне бедно, и мало чем могли помочь несчастным. Старая одежда, хлеб с картошкой, собранная денежная мелочь не могли спасти семью погорельца, особенно многочисленную. В первую очередь

вставал вопрос жилья. Пятистенных изб в то время было мало, в основном деревенские жили в однокомнатных домах в тесноте, ютясь по две, три, а то и четыре семьи. Было счастьем, если у родственников погорельца находился в доме свободный небольшой уголок, но и такого уголочка чаще не отыскивалось.

Летом можно в шалаше жить и что-нибудь предпринять до осени. Но если беда пришла ранней весной, осенью или зимой, погорельцам приходилось очень туго. Они пытались приспособить под жильё чей-нибудь скотный сарай или баньку. Но ведь, кроме жилищного вопроса, остро вставал вопрос питания. Как и чем прокормить пять, шесть, а то и десять оставшихся практически на улице детей? Вопрос питания превращался в трагедию. Дети постарше ходили по соседним деревням и просили подаяние, когда везло, приносили толику собранного «домой», в семью. Мёрзлая картошка для погорельцев считалась лакомством. Некоторые из таких «нищенствующих» детей пропадали, особенно во время свирепых буранов, а по весне их тела находили в поле, оврагах или перелесках. Дети помладше, ещё не умеющие ходить или только-только ступившие на ноги, заболели в холодных свинарниках и банях, пухли с голоду и умирали, а если и выживали, то приобретали хронические, неизлечимые болезни. И разрушались, распались многочисленные семьи погорельцев, вымирали их нередко древние и славные рода.

Словом, пожары в деревнях приравнивались к бедствиям вроде эпидемии, войны или мора. Поэтому, если выяснялось, что пожар произошёл от намеренного поджога, совершённого каким-то недоброжелателем, завистником или мстителем, то виновника поджога вычисляли мгновенно и устраивали над ним безжалостный самосуд. Если злодея успевали поймать ещё во время пожара (бывало такое), то недолго думая хватили его за руки за ноги и бросали в самое пекло učinённого им пламени, не считаясь с общественным



положением и социальным статусом поджигателя. Впечатление от жестокого самосуда бывало настолько сильным, что поджоги в деревнях становились редкостью.

Пожары в прежние времена случались чаще от свечей и горящей лучины, достаточно было малейшей искорки, чтобы пересохшая за лето соломенная крыша вспыхнула фейерверком. Беда могла произойти от небрежности взрослых и от шалости детей, которых, уходя на полевые работы, оставляли дома одних. Да мало ли от чего мог произойти пожар. Это сейчас в деревенских домах крыши из шифера, электропроводки в надёжной изоляции, холодильник, телевизор – живи – не хочю! Но даже в условиях современных мер противопожарной безопасности пожары продолжают полыхать. Недавно, например, мой ровесник с соседней улицы чуть не сгорел по собственной дурости, вернее, невнимательности. Что в данном случае почти одно и то же. А ведь он человек бывалый, опытный, умудрённый жизнью, словом, аксакал! Пожар у него случился, как это ни странно, аккуратно перед забоем свиньи, да и связан был с одним значительным событием в жизни крещёных татар.

Как только осенние холода подморозят почву, а до «белых мух» остаётся ещё довольно много времени, в деревне начинается забой свиней и связанные с этим торжества. «Дни забоя свиней» делятся у нас на две части: практическую и праздничную.

В каждом хозяйстве выращивается на откорм как минимум один боров, достигающий благодаря заботам своих хозяев невероятных порой величин и веса. Когда наступает время их забивания, приходит время забойщиков. Настоящих забойщиков в кряшенских деревнях мало, ведь надо знать и уметь где, когда, каким образом поймать, зарезать, освежевать животное и т. д. Словом, это целая наука, и хороших специалистов по традиционному забою по-кряшенски насчитывается немного. К таким специалистам, причём лучшим,

относится, естественно, и ваш покорный слуга, Джагур-дедей, поэтому с наступлением осенних холодов я хожу по домам в качестве свинобойца.

Был среди нас и некий горе-свинобоец Чулак Питей. Свиней он резал всю свою жизнь, но так и не научился всем тонкостям дела. К тому же скотину он забивал левой рукой, что не одобряется нашими предками.

«Стиль» Чулака Питея можно было распознать уже по визгу обречённой на муки свиньи. Этот пронзительный, сумасшедший визг бедного животного достигал даже ушей благоверных мусульман соседнего татарского села Сарабиккулово. Надо сказать, что сарабиккуловцы испытывают естественное отвращение к свинье, как все благочестивые приверженцы ислама, и даже избегают называть свинью своим именем. Вместо «дуңгыз» они употребляют целый ряд образных синонимов типа «чучка», «Кәкретанану» («кривое рыло»), «салпыколак» («вислоухие»), «мыркылдык» («хрюшки»), «кәкре койрык» («кривохвостые»), «сосна» («обжоры») и многие другие. Однако к кряшенам-единоплеменникам, употребляющим в пищу свинину, относятся с пониманием и никогда при аналькцах не называют свинью словом «дуңгыз», так как это слово у мусульман равнозначно оскорблению. Они вообще стараются не упоминать это животное.

Однажды сарабиккуловский охотник по имени *Буре Хатыл* (в данном случае «Буре», то есть «Волк», несомненно, деревенское прозвище), возвращаясь из очередной экспедиции по лесным угольям, остановился у меня, чтобы передохнуть и чайком побаловаться. Мы с ним были большие друзья. Стало быть, сидим мы вдвоём чинно, чаёвничаем, беседы степенные ведём, и вдруг прямо в окно, возле которого мы расположились, уставилась со двора любопытная морда огромного борова, откормленного мной специально для зимы. Увидев «вислоухого», *Буре Хатыл* тактично произнёс: «Какая здоровенная кряшенская овца». Он назвал

свинью именно «кряшенской овцой», а не оскорбительным для татаро-мусульманского уха словом «дуңгыз». И всё, после появления в окне свиного рыла, гость предпочёл вежливо отказаться от дальнейшего угощения и поспешил откланяться, даже недопив чая.

Когда Чулак Питей резал свиней, сарабиккуловские мусульмане при звуках свинячьего визга читали молитвы, попутно замечая: «У кряшенов «свиные дни» начинаются, Чулак Питей снова мучает своих «вислоухих» тварей. Астагафирулла, упаси Аллах, как визжат эти нечистые создания!»

«Свиные дни» проходили по старинным обрядам наших предков. Священнодействие начиналось рано утром, с первыми лучами солнца, именно в это время я появлялся во дворе, куда меня накануне пригласили хозяева. В помощь мне обычно давали трёх-четырёх мужиков и двух-трёх баб. Работы хватало на всех. Для начала мы усаживались за стол и степенно пили чай. После этого все участники церемонии выходили на крыльцо. К обречённой на забой скотине мы подходили только вдвоём с хозяином, остальные люди стояли поодаль. Свинья – животное очень чувствительное, целая толпа галдящих людей может так напугать её, что поймать скотину потом будет чрезвычайно трудно.

Рабочая, или практическая часть церемонии заканчивалась, когда туша забитого животного уже освежёвана и куски мяса аккуратно развешаны в чулане. Помощники расходились по домам до вечера. После заката солнца все участники одевались как можно наряднее и вместе с жёнами являлись на вторую, торжественно-застольную часть праздника. В доме их ожидал богато накрытый стол, венцом которого, естественно, были разнообразные кушанья из свежей свинины. Употребление еды и напитков сопровождалось старинными песнями, танцами, шутками-прибаутками, разными играми. На самом почётном месте, конечно, восседал свинобоек, то есть я, и это меня так чествовали, в мою честь пели старинные протяжные кряшенские песни.

Но всё это было раньше, в старину. Теперь «Свиные дни» почти не проводятся, то есть не сопровождаются такой церемонией, с вековыми традициями и обрядами.

И вообще, нынче при желании можно найти столько причин для праздников, что для застолий не хватит календаря. Скажем, отмечает каждый сельчанин день своего рождения (в наше время многие даже не знали, в какой день появились на этот свет). А рождение ребёнка и вовсе превращается в эпопею многодневного и многоразового застолья: «обмывают» вести из роддома; доставку ребёнка домой; обряд имянаречения; получение свидетельства о рождении; месяц; полгода; год со дня рождения и так далее. Да ещё как «обмывают»! С поистине купеческим размахом. По сравнению с этими торжествами «Свиные дни» блёкнут и выглядят убого. Да и как же так не праздновать появление ребёнка, если он часто остаётся единственным чадом в семье. Это в наше время рожали как минимум по пять-шесть, а обычно – по десять и двенадцать детей, накормить и одеть которых было, ох как трудно, а порой почти невозможно. К совершеннолетию не многие дети могли закрывать свой срам какой-либо приличной одеждой. Истину говорят, что бедняков угнетает многодетность.

Теперь молодежь предпочитает не рожать, а жить, как говорится, для себя, для собственного удовольствия. Мы, старики, им вовсе не завидуем. То есть мы, конечно, завидуем по-хорошему их богатству, достатку, которых не было в нашей юности, но отнюдь не завидуем праздной бездетности, более того, порицаем. Иногда мы, старики, собираемся за чашкой чая и судачим о молодых: «Эх, нам бы в своё время их достаток! Ох, и наделали бы мы детей! Настругали бы ещё пару Аналык!» Увы! Что делать? Молодых ещё можно научить какому-нибудь ремеслу, скажем, правильному забою скота. Но как их научить делать детей? Этому даже родители не обучат.

Молодёжь и свинью резать не умеет. Вернее, всё делает быстро, наспех, как говорится, по новой технологии. Например, опаливают свиную тушу бензиновой паяльной лампой. Дескать, удобно и быстро. Только сало после этой «удобной» процедуры почему-то пахнет поломанным трактором.

Надо ли говорить, что при таком отношении к дедовским традициям молодёжь напрочь «забывает» при забое скота держать животное мордой к востоку, не допускать пролития крови на землю, сыпать соль на место первого удара ножом в тушу и придерживаться ещё целого ряда тонкостей, переданных нам предками. Бедное животное ловят, как и когда придётся, наспех режут в каком-нибудь углу двора и опаливают вонючей паяльной лампой.

Вот и мой сверстник едва не сгорел от этого проклятого бензинового паяльника. Когда настало время резать свинью, молодые трактористы, жившие по соседству, вызвались помочь деду. «К завтрашнему утру приготовь всё необходимое, – сказали они ему. – Не забудь попросить в колхозе ведро бензина для паяльной лампы, а остальное мы сами сделаем».

Дед, конечно, обрадовался помощникам, приготовил всё, что требовалось для свиньи «экзекуции» и не забыл принести ведро бензина, по обыкновению, поставив его у крыльца, где уже стояло несколько вёдер с водой. Вечером хозяйка затопила печь, чтобы приготовить в казане ужин, а сама зашла «ненадолго» покалякать с соседкой. Ну, вы представляете себе, до какой степени наши бабы могут увлечься «пятиминутной» болтовнёй обо всём и ни о чём.

А в это время дед возился во дворе, приготавливал необходимые принадлежности для предстоящего свиноубийства. Потом он зашёл в избу и ахнул, увидев, что несколько горящих головешек из плотно набитого чрева печи упали на пол, отчего загорелся сухой деревянный настил, а пламя уже кинулось к занавескам. Дед засуетился и не глядя схватил первое же ведро с водой и выплеснул на очаг возгорания. Как назло,

в этом ведре оказался бензин, и через мгновение опалённого, обожжённого дедулю взрывной волной вышвырнуло из дома, как снаряд. Оглушённый и ничего не понимающий старик не в силах был даже закричать, позвать на помощь. Хорошо, что соседи из окон вовремя увидели пожар и совместными оперативными действиями потушили его. После этого случая чудом оставшийся в живых старик, как я уже сказал, мой погодок, в разговоре со мной поклялся: «Баста! Отныне я свинью буду опаливать по старинке, дедовскими способами, а не этой огненной штуковиной!»

А вот дом Василия Устимова, то бишь Василия Учтима, сгорел полностью. Случилось это ночью. Вообще, когда пожар происходит ночью где-нибудь в чулане, клетки или хлеву, пламя поначалу никто не видит, поэтому оно распространяется, набирает силу, а когда начинает вырываться наружу, затушить возгорание становится очень трудно. Вот в доме Учтима пожар возник в чулане. Ночью, когда пламя вырвалось наружу, не так-то легко было разбудить спящих соседей и созвать их на подмогу. А пожарные, по обыкновению, приезжают уже после того, как возгорание потушено или локализовано, и сразу начинают кричать и раздавать команды: «Не мешать! Отойдите! Расступитесь!» Словом, разгоняют народ и с деловым видом заливают остатки углей и без того мокрые от сотен выплеснутых соседских вёдер.

Несмотря на все усилия отстоять дом Учтима не удалось, уж очень бесновался огонь, к которому опасно было даже приблизиться с ведром воды. Впрочем, для такого пожарища ведро воды всё равно, что капля на раскалённой плите. Кроме того, народ испугался оглушительных тресков шифера, больно уж похоже на разрывы бомб в годы войны. Перепуганные бабы наблюдали за огненной стихией на весьма почтительном отдалении. Но мужики и молодые парни храбро сражались с пламенем. Дело в том, что в нашей деревне дома расположены очень близко друг к другу, особенно на улице, где жил Уч-

тим. Вместе с ломающимся от нестерпимого жара шифером разлетались на десятки метров огненные скопы, пылающие головешки и раскалённые угли. Мужчины взбирались вместе с хозяевами на крыши соседних домов и надворных построек и тушили или сбрасывали на землю разнокалиберные «снаряды», неутомимо и яростно обстреливающие их жилища. Так, пожар удалось локализовать, не дать ему распространиться, спасли дома и постройки соседей, и в конечном счёте всю улицу.

А вот у бедняги Учтима полностью сгорели не только дом и надворные постройки, но и всё нажитое имущество, которое не успели, да и не сумели бы вытащить. Это, конечно, стало сильным ударом для Учтима, настоящей трагедией. Его старая мать Думна (Домна) проплакала все глаза. Их семейство и род не отличались достатком, но в последние годы благодаря неимоверным усилиям и просто-таки фантастическому трудолюбию Учтима в дом пришло почти что изобилие. Теперь всё это превратилось в золу, в прах.

Да, было от чего плакать и рвать на себе волосы. В прежние времена Учтим вряд ли оправился бы от такого несчастья. Но ныне – дело другое. Сейчас сельчане зажили если не в богатстве, то в относительном достатке, да и власть стала более чутко откликаться на подсобные людские беды.

Уже на следующий день погорельцам стали помогать всей деревней. Несли им не только еду и одежду как в старину, но и деньги, порой весьма крупные суммы. Кроме того, оказали материальную помощь некоторые организации и учреждения. Учтим со свойственным ему трудолюбием и упорством взялся за постройку дома, и вскоре на месте пепелища выросла красивая белокаменная изба.

Это ещё что, сейчас я малость передохну, горло чайком прополошу и расскажу вам и вовсе потрясающий демэк.

Случилось это, когда в наших краях стали качать нефть, и мы вдруг в одночасье, можно сказать, прославились. Нефтяные вышки, асфальтированные

дороги, диковинная техника, новые кирпичные посёлки, нарождающееся племя «нефтяных королей». Да, было чему удивиться...

Километрах в десяти-пятнадцати от нас, в низине, расположено старинное, чувашское село Лаех (по-русски «хорошо»). Как известно, чувашаи разделены на две ветви: христианскую и языческую. В наши сельские уголья почти упираются земли соседнего чувашского села Кузьминка, где живут христиане, похожие на нас, кряшен. А в Лаехе, где более 300 дворов, живут исключительно одни лишь язычники. Как в том давнем анекдоте: а в Китае, представь себе, живут китайцы, и император у них, оказывается, китаец!

А если серьёзно, то языческие чувашаи придерживаются, вероятно, самых древних верований на земле. Они поклоняются различным природным явлениям и творениям – Огню, Воде, Дереву, Луне, Солнцу, Камню и так далее. У языческих чувашей сохранился от их предков особый календарь, особая очерёдность и значение тех или иных божеств. Следуя этому древнейшему календарю, языческие божества у лаехцев меняются. Скажем, в один год в Лаехе поклоняются Камню, в следующий – Воде, в третий – Дереву, в четвёртый – Солнцу, в пятый – Огню. Есть годы, посвящённые животным, птицам... В течение всего текущего года земной образ календарного «Бога» удостаивается наивысших почестей, поклонений, кроме того, его не только не трогают, но оберегают от всяческих бед и внешних воздействий. Например, в год Камня ни в коем случае нельзя разбивать, перемещать с места на место, бросать любые камни, где бы они ни находились и лежали. Торчащий посередине дороги валун следовало объезжать, потому что Богу было угодно и удобно положить сей камень именно на это место. Тот безумец, кто уберёт с дороги камень в год Камня, рискует навлечь на деревню гнев Господний. Естественно, что в год поклонения какому-то виду дерева оно не подвергалось рубке и находилось под строжайшей охраной местного населения. В год Воды дава-

ли полную свободу десяткам и сотням ручейков, ручьёв, протоков, водоёмов, строго запрещая отводить воду или как-то уменьшить её поток. Если вода прорывала плотины, люди лишь радовались, объясняя это тем, что они до сих пор держали Божественную Воду взаперти, сковывали её естественную «плоть», и вот плотина рухнула, плоть и дух Великой Воды освобождены. Теперь освободившаяся Вода не станет мстить людям за годы своего невольного затворничества, потому что люди смиренно дожидались её божественного прихода. В год Огня запрещалось гасить огонь в печи или ещё где-либо. Дрова или другие предметы должны сгорать дотла естественным образом, сами по себе.

Случай, о котором я упомянул в начале своего демэка, произошёл как раз в год Огня.

Надо сказать, что Лаех испокон веков была очень бедной, забитой и затерянной в глуши деревней. Даже когда соседние сёла стали понемногу обустраиваться, в Лаехе по-прежнему лепились друг к другу вросшие в землю избушки с соломенными крышами. Уже будучи взрослым, видел я в Лаехе лачуги с земляным полом и печкой без трубы, то есть жильё топили по-чёрному, выпуская дым через какую-нибудь отдушину. Такой примитивно-нищенской, но по-своему свободной и гордой жизнью жили лаехцы вплоть до описываемого мной события.

Беда случилась в разгар жатвы, когда стояли жаркие дни, а дети обычно оставались дома одни. То ли по детской шалости, то ли по другой причине огонь вспыхнул, как назло, именно в том месте, откуда всю деревню продувал бодрый знойный ветерок. Пламя весело, с треском охватило один из домов вместе с его нехитрыми надворными постройками. Подростки и дети дружно забежали было с вёдрами, полными воды, но старики, хранители древней веры, остановили их властным движением: «Не трогайте Бога, он знает, что делает. Он всё знает, сам отнимает, сам и воздаст». Было запрещено звонить в

райцентр и даже в соседние сёла, разрешалось только выносить из горящих домов немудрёное имущество. Таким образом, всё население стояло и смотрело, как до последней хижины, до последней баньки и брёвнышка догорало их старинное, в триста дворов село. В жаркий день пожар бывает почти бездымным, а Лаех располагался в низине, потому в соседних сёлах просто-напросто не видели бедствия. Народ со своим нехитрым скарбом остался на улице, под открытым небом.

Но Бог он есть! Для Лаехцев это был, конечно, Бог Огня, который, всё отняв, всё и возместил сторицей. Словом, уже на следующий день весть о пожаре, уничтожившем целое село, достигла ушей районного начальства. А власть имущие не любят, когда их подданные остаются без средств к существованию, да ещё без крыши над головой. Эдак, чего доброго, и управлять нечем будет. И вот застрекотали телефоны, проводились собрание за собранием, новоявленным нефтяным королям не терпелось продемонстрировать своё могущество, щедро приправленное сладким соусом человеколюбия. На бюро райкома созвали руководителей всех нефтяных предприятий, колхозов, совхозов и других организаций. В итоге каждый руководитель брал на себя обязательство построить на месте спалённой деревни от одного до пяти домов, в зависимости от производственно-экономических возможностей вверенных им организаций. Дальше – больше. Райком партии почти сразу же организовал настоящие социалистические соревнования между организациями района по спасению бедных несчастных погорельцев, незадачливых поклонников Бога Огня. Каждая организация старалась построить дом повыше, покрасивее, попросторней. Словом, возродились, будто Феникс из пепла, триста добротных домов из сосновых брёвен или бело-красных кирпичей с покрытыми шифером или жестью крышами. Конечно, лаехцы горячо благодарили районное руководство и коллективы предприятий, оказавших им помощь, но между собой, а позднее и

при людях поговаривали со знающим и довольным видом: «Вот видите, мы же говорили: Бог сам отнимет и сам же воздаст сторицей! Что и случилось. Бог отнял у нас ветхие жилища с соломенными крышами и подарил настоящие белокаменные хоромы!»

...Это я к тому, что всякий пожар в деревне может иметь свои последствия, привести к разным результатам. За примером далеко ходить не придётся. Весьма курьёзный случай произошел с «пожаркой» в нашем собственном селе. Дело в том, что в деревнях вместо наспех сколоченных ферм и амбаров довоенного образца давно уже понастроили животноводческие комплексы и другие колхозно-совхозные объекты из бетона и кирпича. На сельские дома культуры любо-дорого смотреть и снаружи, и изнутри. Мастерские по ремонту сельхозтехники похожи на маленькие заводы. Заново отстроены хозяйственные объекты, школы, правления колхозов, сельсоветы, медпункты, отделения связи, магазины. Однако почти во всех деревнях остался один анахронизм – ветхие, древние постройки противопожарных служб, которых в народе называли «пожарками», «пожарными караулками», «пожарными каланчами», а в нерусских селениях иногда – просто-напросто «пожарами». Ни у сельских, ни у районных властей руки до «пожарок» не доходили.

Состояние противопожарной безопасности в нашей деревне представляло собой следующую идиллически-патриархальную картину. Высокой пожарной каланчи у нас не было по той простой причине, что похожая на курятник «пожарка» прилепилась к самой верхушке горы. С этой горы вся деревня виделась как на ладони, так что надобность в дозорной башне отпадала сама собой. Из трёх оконцев «пожарки» можно было наблюдать за деревней и окрестностями. К «пожарке» примыкало странного вида строение, что-то вроде сарая, под чьей защитой несли бдительную вахту две телеги. На одной из них стояла огромная, рассохшаяся деревянная бочка, способная удерживать в

своём чреве воду не более десяти-пятнадцати минут, на другой – неуклюжие качели ручного насоса. За всю свою восьмидесятилетнюю жизнь я, кажется, ни разу ни видел, чтобы какой-нибудь пожар был укрощён с помощью этого, несомненно, замечательного противопожарного дуэта. Конечно, доблестные сельские пожарные иногда в часы досуга подолгу возились со своими техсредствами, доводили их, как говорится, до кондиции, а потом с помощью прохожих двигали рычаги этой чудо-техники, чтобы продемонстрировать народу мощь насоса. Надо сказать, вода из шланга выбрасывалась на довольно приличное расстояние. Понятно, что подобное состояние боевой готовности не поддерживалось постоянно, обычно средства противопожарной безопасности приводились в готовность не чаще двух раз в году. Остаётся только сожалеть, что пожары, как стихии неразумные и несознательные, не горели (простите за каламбур) желанием ждать по полгода появления на горизонте своего достойного противника. Напротив, пожары, будь они не ладны, не имели привычки вежливо предупредить о своём приходе и вторгались всегда неожиданно и дерзко...

При зимних пожарах телеги с бочкой и насосом вообще были бесполезны. Во-первых, насос, намертво прикрепленный к телеге, не мог быть перенесён на сани. Во-вторых, кони, тянущие за собой «спецсредства», при спуске с горы застревали в сугробах и не в силах были вытянуть телеги с утонувшими в снегах колёсами. Впрочем, эти телеги с громоздкими «спецсредствами» не мог бы вытянуть, наверное, и бульдозер. В-третьих, оставшаяся с осени и, естественно, заледеневшая в насосе вода не позволяла двигать рычаги, даже если бы на подмогу пришли не четыре, а сорок четыре пехлевана.

Но и летом, как это ни странно, насос не работал. Видимо, после «испытаний» и «учений», а также после неудачных попыток тушить пожары в насосе оставалась вода, от которой ржавели и приходили в негодность детали мудрёного механизма. Приходилось махать

рычагами бесщётное количество раз, тщетно выравнивая воду, разбирать и заново собирать детали, снова приводить в движение «качели». За это время либо ребятня с бабами тушили пожар с помощью обыкновенных вёдер с водой, либо огонь входил в раж и оставлял за собой пепелище. Зачастую насос лишь мешал процессу пожаротушения. Спросите, почему? Да всё просто. Как только к месту пожара подъезжала колымага с характерными «качелями», все мужчины бросали вёдра и лопаты и собирались возле насоса, словно консилиум врачей, которые гадали, как реанимировать больного? Советы сыпались со всех сторон. Кто-то предлагал что-то там подкрутить, другой, напротив, советовал что-то ослабить. Словом, всё трудоспособное мужское население деревни до хрипоты спорило о том, как вдохнуть жизнь в издыхающего монстра противопожарной безопасности, зачастую даже не замечая, что пожар давно уже потушен силами всё той же ребятни и баб... М-м-да... Вот вам доказательство того, с какой страшной силой привлекает к себе мужчин техника.

Обычно пожарными работали старики. И летом, и зимой в «пожарке» собиралось немало подозрительных, празднично шатающихся мужичков, лодырей или прогульчиков, решивших отдохнуть от трудов колхозных пару часов, а то и денёк-другой. Все эти мужички курили вонючие самокрутки, болтали о том о сём, травили байки да анекдоты. Мне кажется, что так бывает во всех деревенских «пожарках». В конце концов, работа пожарником вовсе не считается в деревне почётной, потому в некоторых селениях подолгу не могут найти человека на эту должность. Но, как бы то ни было, штаб противопожарной обороны нельзя оставлять без караула, который, завидя пожар, мог хотя бы просигнализировать об опасности с помощью ударов в колокол. Когда на пост пожарного наблюдателя не удавалось отыскать даже самого завалышащего мужичонку, деревенским приходилось дежурить самим. Очередность установили лишь два года назад, и надо же было тому случиться, что по

иронии судьбы именно в тот год и сгорела дотла наша «пожарка».

Тогда стояла осенняя, ненастная погода. Уже который день лил дождь, грязи было по колено, а то и по пояс, а народ всё ещё ковырялся в своих огородах, выкапывая остатки картофеля. В тот день в «пожарке» наступила очередь дежурить двум бабам-соседкам. Целый день они горбатились на своих огородах, а выкопав, наконец, всю картошку, отправились на дежурство. В «пожарке» решили затопить печку и подсушить намокшую за день одежду. На смену они взяли домашние халатики и шерстяные носки: не сидеть же голыми, пока сохнет мокрое бельё!

Печку соседки затопили жарко, развесили мокрую одежду, переоделись во всё сухое, вскипятили чай и принялись за свои бабские разговоры. От тепла и чая их разморило, усталость взяла своё, и вскоре наши «пожарники» заснули. Печь в «пожарке» была с трещинами, и вскоре искры от сильного пламени перекинулись на высохшую одежду. Так начался пожар в «пожарке». Сами «дежурницы» спали в другом конце избышки за перегородкой и поначалу не ощутили опасности. Огонь пожирал развешанные за печкой одежды и примыкавший к ним угол избы, сколоченный из лёгких брёвнышек. Покончив с этим углом, огонь перекинулся на сарай, где стояли телеги с бочкой и насосом. И только тогда в селе заметили пожар на Церковной Горе. Пока люди добирались до горы и лезли наверх, сарай уже обвалился, бочка и насос сгорели, а пламя подступало к конюшне. Заступившие на «дежурство» бабы продолжали сладко спать, не подозревая о том, что пламя уже подобралось к ним. Многоэтажно матерясь, мужики выбили окно жердиной, и мигом пробудившиеся красавицы с визгом выскочили из объётого пламенем закутка. Тут же вслед за ними рухнули остатки домика. Конюшню удалось отстоять.

Случилось это часов в пять утра.

Горе-пожарницы не на шутку перепугались. Мало того, что они опозорились перед всем честным народом,

так ещё нанесли немалый ущерб колхозному имуществу. Вот беда-то! Да и бригадир масла в огонь подлил: «Я за вас отвечать не намерен, идите к председателю и сами за себя отдувайтесь». А наш председатель, впрочем, как и другие, в пять утра как штык приходит в правление. Туда виновницы пожара и направились, что называется, прямоком с места события, а поскольку вся их одежда благополучно сгорела, они шлёпали по грязи в домашних халатиках да носках. Это было зрелище! Увидев ввалившихся в правление перепачканных баб, одетых явно не по погоде, председатель, не будучи ещё в курсе событий, остолбенел. Перепуганные женщины поначалу ничего не могли толком объяснить и только что-то виновато и невнятно бубнили.

– В чём дело? Зачем пришли? – обрёл, наконец, дар речи председатель.

– «Пожар»... «Пожар» загорелся... «Пожар» сгорел! – сбивчиво загалдели бабы.

– Что за чушь вы несёте? Как это пожар может сгореть? Пожар – это и есть огонь, – недоумевал председатель.

Вглядевшись в их перепуганные лица, он стал догадываться, в чём дело.

– Пожар в деревне? Где? Когда?

– Да-да! – отчаянно закивали головой поджигательницы и пожарницы в одном и том же лице. – Сгорел... Пожар... Всё сгорело.

– Неужели на ферме? – вскочил с места председатель.

– Нет, нет, не ферма... «Пожар» сгорел, весь, «пожар»...

– Какой-токой пожар сгорел, дуры?! – взвился председатель, нутром чуя что-то недоброе. – Говорите яснее!

– «Пожар»... Ну, это... «Пожарка» сгорела. Совсем сгорела. И караулка, и сарай с бочкой и насосом. Только конюшню спасли, – тряслись от страха и холода соседки.

И тут, поняв, наконец, в чём дело, председатель облегчённо вздохнул и громко рассмеялся.

– Ну и прекрасно! – воскликнул он.

– А то деревню отстроили на зависть всем, а до этой чёртовой «пожарки» руки не доходили. Теперь на месте сгоревшей рухляди построим современный пожарный участок с гаражом для машины. Хорошо, что вы спалили этот «курятник», к ядрёне-фене. Теперь мы на законном основании можем возвести современный объект и просить на это средства и материалы. Вы только ускорили дело, бабоньки, и за это спасибо вам.

Бабоньки тут же успокоились, более того, гордо зашлёпали домой с высоко поднятой грудью и ощущением честно исполненного долга.

А председатель, действительно, не стал откладывать дело в долгий ящик, и вскоре на Церковной Горе появился по-современному оборудованный противопожарный комплекс с ярко-красной новенькой машиной в просторном кирпичном гараже. Забыты были неуклюжие «качели» ветхозаветного насоса, и сельчане с благодарным трепетом наблюдали, как тугая струя воды из пожарной машины пересекает всю деревню от края до края. Одно лишь осталось неизменным – отсутствие подходящих людей на караульный пост в новой «пожарке». В конце концов, уговорили на эту должность двоих стариков чуть помладше меня. Недавно я наведывался к ним. Помещение у них просторное, светлое, тёплое. Услышав от меня слова одобрения, старики ответили:

– Ты прав, брат Джагур, всё здесь хорошо да приятно, и только одно беспокоит – уже целый год в селе не случилось ни одного пожара. Пока ещё живы, хотелось бы испытать технику в деле...

Вроде сетуют, старые зубоскалы, а сами улыбаются: шутка, дескать. А что им ещё делать, как не ляды точить. Целый год валяются здесь, бездельничают, чаёвничают да языком без умолку треплют. И дома тепло, и в «пожарке» неплохо. Опять-таки, какое-никакое жалование к пенсии идёт.

Хураша-а!..

демэк четвёртый (грустноватый)

В гостях
у матери

92

Когда Ирэк (означает «свобода», в нашей деревне такое имя появилось при советской власти) вернулся с прогулки, Уркэй-эби (бабушка Арина) собирала его вещи. В глубине комнаты, на старом деревянном диване, выкрашенном в жёлтый цвет, лежал раскрытый чемодан её сына. Он был почти полон. Этот симпатичный чемодан, обтянутый тугой материей в чёрно-красную клетку, с чёрной пластмассовой ручкой, с замками и уголками из блестящего жёлтого металла, Ирэк купил в универмаге в Казани, простояв внушительную очередь.

Уркэй-эби уложила связанные для сына белоснежные носки между двух стеклянных банок. Она паковала чемодан очень тщательно, плотно укладывая каждую вещь, чтобы не оставалось пустот. Вот она вставила в угол чемодана большую чёрную пластмассовую мыльницу, так, чтобы даже не шелохнулась, затем расстелила толстое мохнатое полотенце Ирека, взяла со стола полулитровую стеклянную банку с мёдом. Закатанная крышка банки сверху была обёрнута тряпицей и туго затянута суровой ниткой.

Перешагнув через дубовый порог, Ирэк плотно закрыл за собой дверь. Дверь была перекошена – её нижняя часть тесно прилегала к порогу, а сверху зияла щель примерно с палец шириной.

– Дверь надо немного подтянуть, мама, – сказал Ирэк, ощупывая зазор пальцами.

– Мы её подтягивали в тот год, когда твой отец умер, но она снова отвисла, – сказала Уркэй-эби. – До холодов надо будет позвать мастера Темапея, он сделает. К зиме ещё и рогожей бы обтянуть.

Повесив на колышки своё элегантное пальто и шапку из пушистого меха, Ирэк подошёл к печи и начал снимать ботинки.

– Похоже, ботинки у тебя тёплые, с мехом внутри, – сказала Уркэй-эби.

– Вроде ничего, но на стельке мех тонкий. Подъём у них высокий, вот вернусь в Казань и, наверно, подложу снизу вату.

Уркэй-эби подошла к печи, подняла один ботинок и, растянув голенища в стороны, начала рассматривать внутренность.

– Сынок, а если вырезать и подложить кусок овечьей шкуры?

– Это было бы отлично, мама.

Уркэй-эби принесла из чулана белую овечью шкуру и бросила её на пол. Это была шкура весеннего барашка с длинным густым мехом.

– Это шкура барашка от той большой белой овцы, – сказала Уркэй-эби, – зарезали его, когда приезжал в гости твой брат Ривал с детьми да женой.

– Неужели эта белая овца всё ещё жива, мама?

– Жива, каждый год приносит по два ягнёнка.

Уркэй-эби пошла за печь и сняла с гвоздя в углу, не заклеенном обоями, большие ножницы.

– Мама, давай сначала замерим подошву ботинок, потомотрежем. Не хочется портить шкуру.

Ирэк перевернул шкуру мехом вниз, поставил на неё рядком ботинки.

– Вот, обведём сейчас карандашом, потом по этому следу вырежем.

Ирэк пошёл в горницу, выдвинул ящик дубового стола, начал рыться в нём, пытаясь отыскать карандаш, но



пальцы натыкались лишь на письма, которые он, его брат и сестра когда-то написали матери. Осознав бесполезность поисков, он окликнул мать:

– Мама, нет ли где карандаша?

– Наверно, нет, деточка. После вас тут четыре-пять штук оставались, а когда ваш отец умер, и они куда-то запропастились, – сказала Уркэй-эби, пристраивая в уголке чемодана банку с мёдом. Ирек вышел в переднюю комнату и вынул из кармана пиджака многоцветную шариковую ручку.

Нажав на красную кнопку, черкнул для проверки по шкуре. Ручка писала хорошо, Ирек обвёл подошвы ботинок и начал вырезать, клацая ножницами.

– Мама, у тебя ножницы совсем тупые.

– Пару месяцев назад я точила их у твоего дяди Жагура, наверно, снова пора точить.

Кое-как, с мучениями отрезав необходимые куски, Ирек вставил их в ботинки.

– Ох, как мягко стало, мама, – сказал он, примеряя ботинки, – так приятно ногам. Вот если бы прямо с фабрики их выпускали с такими меховыми стельками, люди бы не нарадовались. Вернусь в Казань и надо поговорить со «спартаковцами». Хотя я уже заранее знаю, что они скажут, начнут объяснять, что меха не хватает. Они тоже правы по-своему, – ведь речь идёт не об одной паре обуви, а на миллионы ботинок нужна уйма меха.

Сняв ботинки, Ирек поставил их возле печи, вернул ножницы на почерневший гвоздь в углу избы и, аккуратно сложив шкуру, вынес её в чулан.

* * *

Ирек заехал в родную деревню лишь по пути. Он прибыл в районный центр в командировку и решил хотя бы день погостить у матери. Он всегда так делал. По работе его и ещё несколько сотрудников частенько отправляли в командировки в районы. Ирек всегда выбирал свой или соседний район. Прибыв в районный центр, он старался завершить

дела пораньше и в последний день заезжал к матери – Уркэй-эби. Так ему удавалось два-три раза в год побывать в родной деревне. Вот и в этот раз, закончив командировочные дела, он приехал в Аналык на утреннем автобусе. День пролетел незаметно, а вечером, как обычно, он навестил своих бывших однокашников, оставшихся жить в деревне. Теперь хотел переночевать в доме матери и рано утром отправиться прямоком в аэропорт.

Повесив овечью шкуру на длинную липовую жердину в чулане, Ирек вернулся в дом.

– Может, подогреть чаю? – спросила Уркэй-эби.

– Ага.

Уркэй-эби включила электрическую плитку, стоящую на самодельной табуретке возле печи. Взяв с разошедшей и почерневшей деревянной крышки котла большой железный чайник, поставила его на плиту. Когда Ирек учился в университете, у них в общежитии был такой же. А этот чайник Ирек купил для матери в Казани в магазине «Кристалл». Помнится, он тогда купил сразу два чайника. Один – вот этот, второй – из блестящей нержавеющей стали, с выбитыми по корпусу красивыми узорами он принёс домой, жене.

Каждый раз, приезжая в командировку, Ирек привозил что-нибудь матери. Уж сколько он надарил ей отрезков на платье, гранёных стаканов из толстого стекла, алюминиевых ложек, разноцветных ситцевых платков. Он никогда не ломал голову, что бы такое ей привезти, потому как прекрасно знал, что нужно в этом доме и покупал только нужное. Некоторые вещи он привозил из дома, вот, к примеру, белые ситцевые занавески на окнах. Когда они с женой Нафисой купили себе капроновый тюль с крупными цветами, стало жалко выбрасывать эти занавески, ведь они провисели всего полгода, поэтому жена решила отдать их свекрови. И они оказались очень подходящими для маленьких окон в доме Уркэй-эби. Вот те разномастные суповые тарелки – тоже подарок из Казани.

Когда они купили себе дорогой большой сервиз, Ирек собрал все прежние тарелки и привёз матери. Они пришлись очень кстати взамен отбитых и почерневших от горячей пищи алюминиевых тарелок Уркэй-эби и стоят теперь на посудной полке, украшая дом.

...Ирек с Уркэй-эби, наконец, закончили упаковывать вещи. Сын звонко щёлкнул блестящими замками, задвинул чемодан под жёлтый диван. Затем, сняв галстук, повесил его на один из гвоздей, поддерживавших зеркало и, глядя на своё отражение, пригладил чуть отросшие желтоватые усы. Раньше Иреку не приходило в голову отпустить усы. Только когда коллеги в управлении поголовно начали отращивать щетину над губой, он тоже загорелся.

– Это зеркало никуда не годится, – пробормотал он, потрогав чёрные точки на зеркальной поверхности.

– Давно уж пора его выбросить. Повесили и висит, вроде не мешает, но и пользы никакой, – сказала Уркэй-эби. Прислонившись спиной к печи, она ждала, пока вскипит чайник.

Это зеркало Ирек помнил с детства. И вот уже лет двадцать, как оно никуда не уходило с этих гвоздей.

– Может, мне привезти новое, мама?

– Нет, не надо, сынок. На что оно мне? Пока жив был ваш отец, ему нужно было, чтобы бриться, а теперь только вы в это зеркало и смотрите. Висит себе, чтобы стена не была голой.

Чайник вскипел. Уркэй-эби, подхватив полотенцем горячую ручку, поднесла его к столу. Ирек вынес из-за печи кусок фанеры, приспособленный под раскалённые сковородки. Стол был выкрашен серой краской. Видимо, качество краски было не ахти какое, потому что любой горячий предмет сразу же прилипал к столешнице.

Уркэй-эби сама покрасила этот стол. Краски было мало, лишь на дне банки, её отдали соседи после покраски пола, поэтому поверхность стола осталась шершавой.

Поставив чайник на фанеру, Уркэй-эби достала из-под стола стеклянную бан-

ку с сахаром, два стакана, чайные ложки, половину каравая пшеничного хлеба. Ирек поднёс табурет, стоявший у печи, к столу. Ухватив за сиденье, надавил и покачал из стороны в сторону, проверил на прочность. Табурет был расшатан.

– Молоток под печью, мама? Давай-ка я почищу табурет, – сказал Ирек.

Уркэй-эби только что закончила нарезать хлеб, она подошла к печи и открыла деревянную крышку подпечья. Внутренняя сторона доски была ребристой. Эта доска уже многие годы выполняла в доме две функции. Во-первых, она служила крышкой для подпечья, во-вторых, она была приспособлением для валяния шерстяных носков и варежек. И те белые носки, которые Уркэй-эби связала Иреку, она свалила на этой доске.

Уркэй-эби вытянула из подпечья длинный ящик из фанеры, в котором лежали ржавый молоток, двое клещей, гвозди и прочие нужные железяки. Ирек выудил молоток и несколько маленьких гвоздей, накрепко прибил расшатавшиеся ножки табуретки.

– Ладно, сынок, не занимайся пустым делом, чай стынет, – сказала Уркэй-эби. – У меня и без него стульев хватает.

– Даже если хватает, всё равно подремонтировать не мешает, – сказал Ирек, заталкивая отцовский ящик с инструментами под печь. Затем он подошёл к железному рукомойнику возле двери, вымыл руки хозяйственным мылом, вытерся полотенцем, лежавшим на печном карнизе, и присел к столу. Сидя друг против друга, они стали пить чай.

– Я в Казани вечерами пью кофе, – сказал Ирек. – Очень помогает, когда ночью работаю.

– Да, слышала, но крепкий чай тоже прогоняет сон, – сказала мать.

– Я люблю работать ночью. Нафиса с дочкой смотрят телевизор, потом укладываются спать. А я ухожу в кабинет. В комнате тихо, на столе горячий кофе, сигареты. Я сижу и обрабатываю материалы, привезённые из командировки. Хорошо. Бывает, навезёшь столько интересных вещей.

– Сынок, мне кажется, ты много куришь, – сказала Уркэй-эби, посмотрев на гору окурков в чайном блюде, стоявшем на столе.

Каждый раз, когда приезжал Ирек, Уркэй-эби ставила для него чайное блюдо, чтобы стряхивать пепел.

– Нет, дома я выкуриваю около полпачки в день, но во время командировок, конечно, получается больше, – сказал Ирек. Допив чай, он взял в руки лежавший на столе нож и большим пальцем проверил лезвие. Нож был тупым. Ирек вытащил оселок, всегда хранившийся над карнизом входной двери, и принялся точить нож.

– Я был в верхнем конце деревни, зашёл к Арчантаям, у них в доме газ в баллоне, – сказал он, скользя оселком по лезвию ножа.

– Большие семьи сейчас все переходят на газ. У них скотины много, а для неё нужно и воду вскипятить, и картошки наварить. Говорят, что с газом всё очень быстро.

– Электрическая плитка, наверно, неудобна, мама. На ней так долго надо кипятить воду.

– Э-э, сынок, я же одна-одинешенька, суп сварю и три дня его ем. Хорошо, что теперь электричество в доме есть, из-за чашки чая не надо разводиться огонь под казаном, да и на дровах экономлю. Корову продала, так и забот не стало, теперь полный казан горячей воды уже не нужен.

Ирек закончил точить нож и отнёс оселок на место. В дверь заскреблась кошка, которая где-то гуляла целый день, он впустил её в дом. Тем временем Уркэй-эби приготовила для него в горнице постель на пружинной кровати, сама же, прихватив маленькую перину, полезла на печь.

– Мама, я бы хотел спать в этой комнате, вот на этой кровати. Поболтаем перед сном, – сказал Ирек.

– Так ложись где хочешь, – сказала Уркэй-эби, – я постелила там, чтобы тебе мягко было. Сейчас перестелю, – и она начала спускаться с печи.

– Не спускайся, мама, я сам.

Свернув вместе перину, одеяло и

подушку, Ирек вынес постель в переднюю комнату. Расстелив на деревянной кровати, подошёл к выключателю возле двери, погасил свет, разделся, на ощупь повесив вещи на спинку стула, и лёг в постель. Матрас был толстый, но Иреку, привыкшему к мягкой пружинной тахте, постель показалась жёсткой. Лёжа на спине, он засунул углы толстого, тяжёлого, стёганного матерью одеяла под плечи. Кошка, что-то с шумом грызшая под столом, вдруг затихла, а потом вскочила к нему на одеяло. Ирек тут же столкнул её на пол: «Брысь!»

– Она тебе сегодня покоя не даст, чертовка, – раздался голос Уркэй-эби с печи, – она же привыкла спать со мной на этой кровати. Как только выключаю свет, она с мурлыканьем вскакивает на постель. А потом залезает ко мне под одеяло и засыпает.

И правда, вскоре кошка снова запрыгнула на кровать и, пытаясь найти вход под одеяло, ткнулась мокрым носом Иреку в подбородок.

– Брысь, чёрт тебя! – Ирек взмахнул рукой. Кошка со стуком приземлилась на пол.

С печи послышался голос Уркэй-эби:

– Иди сюда, иди ко мне. Кис-кис-кис...

Но кошка снова запрыгнула на кровать Ирека.

– Она упрямится, хочет спать там. Ну-ка, попробую её забрать к себе, – пробормотала Уркэй-эби, слезла с печи, поймала кошку и зашаркала обратно к печи.

В доме, казалось, уже всё успокоилось, но вскоре с печи послышались возня и сдавленное мяуканье.

– Ты погляди на неё, а? Она тоже живая душа и у неё есть привычное, любимое место. Видно, не хочет, уходит отсюда, так и норовит вернуться на кровать, – сказала Уркэй-эби спокойно, без тени недовольства.

Так, под шорохи и возню кошки, тщетно пытавшейся вырваться из рук хозяйки, Ирек и задремал. Вскоре бормотание матери и шуршание кошки стали частью его сна. Будто бы он в Казани, в своей трёхкомнатной квар-

тире. Лежит на белоснежной постели, на своей мягкой тахте. Мать будто бы далеко, в деревне, но Ирек слышит каждое сказанное ею слово. «Даже у кошки бывает своё любимое место, и она не хочет оттуда уходить. А вот вы все уехали из этого дома. Ваш отец прожил семьдесят лет и ни дня больше, так и ушёл в могилу... Ты, моя старшая дочь Роза, уехала в Ташкент, чтобы строить город-сад, а ты, мой старший, Ривал, уехал в Азнакаево, добывать нефть при помощи каких-то сложных машин. Ты, мой младший сын Ирек, учился пятнадцать лет и теперь живёшь в Казани, выполняешь серьёзную работу среди серьёзных людей. Ты, моя младшенькая, Вера, уехала в Альметьевск и выдаёшь теперь жалованье нефтяникам. Вы все зовёте меня к себе: «Приезжай, мама, оставайся с нами, поживи в своё удовольствие». Но посмотрите, даже у кошки есть любимое место, и она не хочет покидать его. Нет-нет, я не сержусь на вас и совсем не обижаюсь. Спасибо вам всем, вы очень старались, вы стали хорошими людьми. Если вам нравится ваша жизнь, то место, которое вы выбрали, живите в своё удовольствие там, где хотите. Вот, и у кошки есть любимое место, и кошка не хочет его бросать».

Иреку всегда плохо спалось на непривычном месте, потому и сегодня он проснулся рано и – вздрогнул от неожиданности. К его левому плечу прижилось что-то тёплое и мягкое. Оказалось – кошка.

«Добилась всё-таки своего», – подумал Ирек. Тем временем и Уркэй-эби проснулась, с тихим шуршанием спустилась с печи, включила электрическую плитку. Ирек встал, надел брюки, затем побрился электрической бритвой и ополоснулся до пояса. Надев свежую белую рубашку и галстук, он подтянул рукава рубашки при помощи пружинных браслетов из белого металла, надел пиджак в едва заметную клетку и присел к столу. Среди всего того, что его окружало, – самодельного деревянного дивана, грубых стульев, пола из некрашенных берёзовых досок, деревянного потолка, полки из струганных досок и

другой нехитрой утвари – он в своей чистенькой одежде выглядел значимо и эстетично. В этом простом жилище одинокой старушки, которое было гораздо беднее других домов в деревне, Ирек собою придавал окружающей обстановке какую-то странность. Однако ясно чувствовалось, что эта странность здесь ненадолго, потому что Ирек, идущий в ногу со временем, и обстановка в доме Уркэй-эби совершенно не сочетались. Они не дополняли друг друга и не замещали недостатки друг друга. Поэтому казалось, что каждому из них чего-то не хватает. И, более того, в них начинала проглядывать какая-то некрасивость, а потому хотелось быстрее развести их и посмотреть на мать и сына порознь, обнаружив утерянную красоту в каждом по отдельности.

После завтрака Ирек обернул шею шерстяным шарфом, надел своё элегантное пальто, дорогую шапку, сунул ноги в ботинки с меховыми стельками. Затем вытащил из-под жёлтого дивана клетчатый чемодан. Тем временем и Уркэй-эби накинула на себя стёганный бешмет и пушистую серую шаль, которую ей привёз Ирек, нацепила галоши на красном подкладе. Открыв дверь, Ирек пропустил мать вперёд, и сам вышел следом. Дойдя до ворот, он потянулся к щеколде и увидел, что один из гвоздей сломан: щеколда висела на одном гвозде и смотрела носом в землю. Поставив чемодан на землю, Ирек вернулся в дом. Достал из ящика под печью молоток и длинный гвоздь, вышел к воротам и крепко прибил щеколду к дубовому столбу.

Закончив работу, он, прощаясь, с улыбкой протянул матери руки, Уркэй-эби, улыбаясь в ответ, приняла большие руки сына в свои маленькие ладошки.

– Будь здорова, мама, как выпадет случай, ещё приеду, – сказал Ирек.

– Доброго пути тебе, сынок.

Ирек, помахивая чемоданом, направился в верхний конец деревни, к остановке автобуса, идущего в аэропорт. Уркэй-эби стояла у ворот, пока сын не скрылся за поворотом, а потом зашла в дом.

ДЕМЭК ПЯТЫЙ

Золотой крест

98

Была в нашей деревне старая церковь. Теперь её нет, построили новую, современную, великолепную.

Инициатором построения новой церкви, прекрасного архитектурного сооружения не только для Аналыка, а для всего округа и соседних районов, стал выходец из нашей деревни – самый молодой генерал внутренних дел Российской Федерации. Он – гордость и любимец Аналыка и зовут его Антипов Вадим Иванович (Әнтип Ибаны Вадимы). Огромное спасибо ему.

О новой церкви хорошо знают наши односельчане. В этом демэке я хочу рассказать о старой церкви, об истории которой мало знают аналыкцы, особенно молодёжь.

Итак, бульдозером прикончили стоявшие от ветра стены и всё, что осталось от некогда красивого храма. А то, что церковь здесь была, подсказывало лишь название горы, которая разделяет деревню надвое, – «Чиркәү тавы» («Церковная гора»). Но именно на вершине этой горы построили новый храм. Несколько лет тому назад тут, у подножия холма, односельчане поставили памятник землякам, погибшим в годы войны за родину. Памятник изображает солдата с автоматом в руке, а на постаменте высечены фамилии и имена погибших односельчан.

Я, конечно, не был свидетелем строительства старой, дореволюционной церкви, но в бытность мою безусым юнцом старики говорили, что храм построили не местные, а пришлые умельцы. Фундамент церкви был выложен из сахарно-белых, гладких, четырёхугольных каменных плит. Такие камни добываются неподалёку от нас в знаменитом Чупаевском месторождении. Немногие знают, что центральная часть города

Альметьевска, нефтяной столицы республики, была построена именно из этого белоснежного чупаевского камня. А ведь чупаевские поля соприкасаются с полями нашего колхоза, и залежи белого камня, пусть не такие богатые, как возле Чупаевской горы, находятся на отрогах гористого образования, тянущегося почти до самой нашей деревни. Особенно много белого камня у горы Таштау (Каменная Гора), что в трёх-четырёх километрах от нашего села. Говорят, что именно здесь аккуратно вырезали, шлифовали, а потом привозили к нашей деревенской горе отменные белоснежные каменные плиты для основания церкви.

А ещё говорили, что при закладке церкви в её основание замуровали золотой крест, чтобы храм стоял вечно и был местом поистине святым. О золотом кресте в деревне говорили украдкой, на ушко друг другу, в результате чего эту легенду знали все в округе, от мала до велика.

Саму церковь тогда возвели из превосходных сосновых брёвен, обшили также сосновыми досками, но пол её выложили теми белоснежными каменными плитами. У церкви были три большие, тяжёлые железные двери. Решётчатые стальные ворота, смотревшие на село, открывались лишь в дни великих праздников. Церковная утварь впечатляла: великолепная мебель, расписные и резные, с позолотой, стены и двери, художественные полотна на религиозные темы, многочисленные иконы, богато украшенный резной алтарь. Всё это было создано в дореволюционное время. Для полунищих кряшенских крестьян-лапотников с их соломенными крышами, эта церковь явилась настоящим чудом, милостью господней.

Молодёжь тридцатых годов застала некогда величественную церковь в весьма плачевном состоянии. Новоявленные коммунисты, которых в народе долго ещё называли антихристами или неверными, вели настоящую войну против церкви и вообще всякой религии, против «попов-мракобесов, этих паразитов на теле народа, против церковных канонов, держащих людей во тьме невежества» и т. д. Большевики на каждом углу кричали, что революция откроет глаза народу с помощью знаний, а не религии. Допустим, против знаний и я ничего не имею. Более того, вынужден примириться и с борьбой против религии, в конце концов, обе стороны имеют полное право доказывать правоту своей позиции и неправоту оппонента. Хорошо, пусть будет борьба, но борьба с религией, а не с храмами, с их оригинальной архитектурой, замечательными картинами, прекрасной утварью, резьбой и украшениями, музыкальными инструментами, колоколами, алтарём, золочёными подсвечниками... Ведь не попы или архидьяконы строили церковь, а простые каменщики и плотники, такие же труженики, как наши аналыковские мужики. Кроме того, я не стал бы утверждать, что все попы как на подбор были кровопийцами народа и держали людей в невежестве. В маленькой церковно-приходской школе нашей деревни сельский поп вплоть до революции обучал детишек грамоте. Как учителя, так и попы бывают разными. Скажем, выдающийся кряшенский поэт Яков Емельянов в своё время был дьяконом в сельской церквушке. Нужно уметь отделять зёрна от плевел. Словом, развернувшаяся после революции борьба против религии никоим образом не должна была затронуть связанные с религией материальные и культурные ценности. Однако в жизни всё получилось наоборот.

Среди сельских активистов и доморощенных лекторов-пропагандистов не нашлось ни одного мало-мальски начитанного и развитого человека, способного хотя бы попытаться доказать

вредную сущность религии или, по крайней мере, пошатнуть веру человека в Бога. Не сумев победить в духовном единоборстве, пещерные атеисты принялись крушить церкви, мечети, синагоги, языческие капища... Настал черёд и нашей церкви. В первую очередь собрали все принадлежности алтаря, всю богатую утварь, переливающуюся золотом, украшенную тонкой, изысканной резьбой, и выбросили их в пожарный водоём, что у подножья горы. В этот же водоём полетели и другие предметы культа, быта и роскоши. Нашлись «герои», которые вытаскивали из церкви тяжёлые, толщиной в две доски и величиной с большой кухонный стол, иконы и топтали их ногами, отплясывая на лицах святых безумный танец революции. Некоторые сельчане позже подобрали валявшиеся на земле иконы и сделали из них столы в домах. Один из таких столов мне как-то довелось увидеть в доме старухи Пидуры (то есть Федоры). Впрочем, почти никто в деревне не звал её по имени, о ней говорили просто: «Жена Гури Питера». Сам Гури Питер был человеком видным, мастеровым, уважаемым в деревне, вот только судьба дала ему недолгую жизнь. Многие девицы мечтали выйти замуж за Питера, но счастье назваться его женой выпало на долю этой Пидуры. Повезло девице, ничего не скажешь. Но Пидур в деревне много, Гури Питер – один, следовательно, и жена Гури Питера – единственная в своём роде.

Перед каждым большим праздником деревенские дома тщательно мыли и скоблили внутренние стены дома. На такое мероприятие приглашались обычно пять-шесть женщин, которые острыми скребками скоблили, а потом мыли стены и потолок избы. В помощь им приглашался один мужчина, который точил скребни. Так вот, я должен был точить скребни для женщин, собравшихся в доме жены Гури Питера. Чтобы скоблить потолок, обычно становились на стол, но при этом переворачивали его столешницу, чтобы не запачкать поверхность, и вставали на тыльную

часть стола. Отношение к столу в деревне было уважительным, считалось грехом влезать ногами на стол, с которого берёшь еду. Но когда стали переворачивать столешницу Пидуры, она вдруг запротивилась, утверждая, что стол нельзя переворачивать, и что она просто застелет стол полотенцем. Мы все недоумевали, а я всё-таки не удержался и, приподняв стол, посмотрел на его тыльную часть. И обомлел! Оттуда из глубины выцветших красок строго смотрел на меня какой-то святой старец. Пришлось в первый раз нарушить обычай, но, правда, Пидура постелила на стол старое полотенце.

А в далёкие тридцатые годы как только ни издевались над церковной утварью и самой церковью! Был в то время такой ушлый активист по прозвищу Куджмандрич. Собственно, это прозвище произошло от его русского имени и отчества: Кузьма Андреевич. Но, как я уже говорил, кряшены никогда не называли друг друга труднопроизносимым для тюркского языка русскими именами. Просто язык не поворачивался правильно выговаривать все эти греко-славянские соединения гласных, согласных, шипящих, твёрдых и еще бог знает каких звуков. Однако наш Куджмандрич, будучи активистом, хотел стать человеком культурным, образованным и поэтому требовал, чтобы его называли русским именем и отчеством. Сельчане – народ непривередливый, они согласились и на «Кузьму Андреевича», но, не в силах преодолеть свою природную тюркскость, быстро слепили уважительное обращение в очередное сельское прозвище «Куджмандрич». Прозвище на селе, известно, остаётся жить даже после смерти своего носителя. Вот и наш почтенный активист и строитель «новой жизни» быстро привык к своему прозвищу, тем более, что и сам не мог толком выговорить своё правильное православное имя.

В годы гражданской войны, а потом и в годы вооружённых бунтов вилочников в наших краях царила настоящая неразбериха, власть менялась чуть ли

не каждый день. Оно и понятно: с одной стороны, недалеко от нас находилась крупная железнодорожная станция Бугульма, через которую шли составы из европейской части в Сибирь, с другой стороны – станция Клявле, с третьей – важные на волго-камском водном пути Челнинская и Чистопольская пристани. Мы оставались как бы внутри стратегически важного треугольника. Белогвардейцы изо всех сил старались удерживать в своих руках эти важные позиции, ну а для красноармейцев вопрос овладения «треугольником» был неразрывно связан с судьбой революции. В то время трудно было отличить красноармейца от белогвардейца и наоборот. К тому же в дополнение или противостояние двум силам в регионе поднялось движение так называемых «вилочников».

Приближается, скажем, к селу конный отряд, и непонятно, какой политической ориентации он придерживается. А ну, как начнут спрашивать у крестьян насчёт их политических симпатий? Что отвечать – непонятно. Самим спрашивать – опасно. В самом деле, попробуй, спроси у какого-нибудь лихого рубаки: «Ты кто будешь, мил человек, белый или красный?» После такого «наглого» вопроса можно и головы лишиться.

Мы знали в общих чертах, как разговаривать с красноармейцами, но для общения с белыми или «вилочниками» требовалась чрезвычайная осторожность. Стоило им заподозрить кого-нибудь в симпатиях к «краснопузым», тут же следовал расстрел на месте. Однажды вошедшие в нашу деревню «беляки» расстреляли трёх мужиков прямо у стен церкви. А ещё считают себя истинно православными: дескать, за царя, веру и отечество...

Борьба была кровопролитной, долгой. Бывало, и красноармейцы озлоблялись от неудач и вымещали свою злость на ни в чём неповинном населении. При малейшем признаке неподчинения на село обрушивались «красные» репрессии. Но красноармейцы поднимали алое знамя и нацепляли на рукава или шапки красные повязки только во время

заведомо победоносных походов, когда ничто не угрожало их безопасности. Во время движения от села к селу или опасных операций, когда не знаешь, с какой стороны нагрянет враг, какие силы засели в деревне, красноармейцы вовсе не были «красными», потому что благоразумно прятали подальше свои знаки отличия, объясняя отнюдь не героическое поведение «тактическими соображениями». В деревню они врываются донельзя злые, потрёпанные в боях с «белыми», не зная, что их ждёт впереди, что это за деревня, и с какой стороны следует ожидать нового удара и по какой дороге удобнее удирать в случае смертельной опасности. Попадаться им под горячую руку в такие моменты было равносильно самоубийству. Даже безобидный, казалось бы, вопрос: «Вы красные или белые?» мог быть классифицирован как «близорукость и политическая неграмотность» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Автор такого неосторожного вопроса автоматически относился к «деклассированным элементам» и рисковал быть казнённым без суда и следствия. Во всяком случае, вот так красные зарубили сгоряча нескольких мужиков из нашей деревни.

В это смутное время наш Куджмандрич заведовал сельской избы-читальней, то есть, по-нашему, был «ызбачём», а по-современному – директором Дома культуры. Естественно, что как человек культурный, Куджмандрич сплошь завесил стены своего заведения листовками, а на столе держал стопку большевистских брошюр. На коньке избы-читальни развевался красный флаг.

Вездесущие деревенские мальчики заблаговременно сообщали всем о приближении очередного конного или пешего отряда. И тогда для Куджмандрича наступали дьявольски трудные минуты. Следовало как можно быстрее узнать, кого бог послал в гости на этот раз: белых, красных или «вилочников»? Если это белые, требовалось моментально очистить избу от большевистских ли-

стовок и брошюр, чтобы получить шанс остаться в живых. Если, напротив, приходили красные, нужно было вновь развесить листовки, выложить на стол брошюры и в чистой одежде, с поклоном встречать на крыльце «родимую советскую власть».

Однажды долго не удавалось установить политическую принадлежность приближающегося к деревне отряда. Бедный Куджмандрич bestолково носился по деревне, прижимая к груди кипу листовок и брошюр, спрашивая у каждого встречного-поперечного, кто же идёт в село. Отряд приблизился уже к околице, когда стало ясно, что в Аналык пожаловали белые, и Куджмандрич с безумными от страха глазами прытью кинулся к избе. Он успел зашвырнуть в погреб всю пропагандистскую литературу большевиков и снова остался цел невредим.

А в другой раз ему всё-таки досталось от красных. Однажды до деревни дошёл слух, что белогвардейский отряд вышел из аула Чыршылы («Еловое») по направлению к Аналыку. Куджмандрич тут же собрал все большевистские издания и спрятал их в погребе, а с крыши снял красный флаг. Но вместо белых в село вошли красные, а они имели вредную привычку сразу интересоваться избы-читальней, которая на этот раз оказалась не оформленной должным образом и даже без флага на крыше. Один въедливый красноармеец ухитрился обнаружить в погребе спрятанную прокламацию, и тут же отвёл Куджмандрича к командиру. И быть бы ему расстрелянным за «контрреволюционный саботаж», «за антисоветскую пропаганду», «измену делу революции» и ещё бог знает за что, если бы не спас его от ногтей смерти вовремя продемонстрированный партийный билет. Правда, без наказания не обошлось, незадачливому культработнику посадили на трое суток под арест в погребе собственной избы-читальни. Однако вечером того же дня красноармейцы неожиданно покинули село, позабыв отпереть крышку погреба-темницы. Но подоспевшие односель-

чане освободили мученика пролетарской культуры.

Этот самый Куджмандрич особенно усердствовал в уничтожении и порче церковного имущества. На собрании, где решалась судьба церкви и её имущества, он так бесновался, что схватил одну из икон, сваленных у церковных ворот в ожидании своей участи, и заорал, вперив безумный взгляд в лик какого-то святого: «Ах ты, сволочь! Долго ты обманывал народ, держал нас в темноте и невежестве, но теперь мы расквитаемся с тобой по полной программе! У-у! Я бы лично тебя сожрал!»

После этого он ещё больше вошёл в раж, зарычал на икону и наглядно продемонстрировал, с каким удовольствием откусил бы нос, уши и щёки святого, будь тот во плоти.

Куджмандрич жил долго, умер в преклонном возрасте. После окончательного установления советской власти он был первым на селе учителем, долгие годы преподавал в школе, завоевал уважение односельчан. В последние годы жизни его приковал к постели паралич, рот искривило страшной судорогой. Злопамятные старики говорили, что это бог наказал Куджмандрича за то, что в те годы рычал на икону и кусал её.

Издевательство над иконами достигало порой такого маразма, что некоторые мужики, злорадно мочились на лики святых. Сам я не был свидетелем такого кощунства, но в деревне об этом знали все, и даже передавали друг другу имена мужиков, осквернивших память и веру предков. Много лет спустя, уже в послевоенные годы некая баба из Аналыка рассказала мне об одном из тех вандалов, что справляли малую нужду, стоя на иконах. Я не стану называть ни имени той бабы, ни имени несчастного мужика, чтобы не смущать здравствующих ныне родичей, а назову их для удобства условными, придуманными только мной именами. Бабу назовём Аннук, а мужика Иваном.

Аннук никогда не выходила замуж, хотя исправно родила и успешно воспитывала пятерых детей. Она была очень

бойкой, красивой, своенравной, острой на язык женщиной и в то же время хорошей, неутомимой работницей и заботливой, нежной матерью. Нет, Аннук не считали гулящей девкой в обычном понимании этого слова. То есть она не ходила по рукам, а сама выбирала себе мужика по душе, а произведя на свет очередного ребёнка, вовсе не спешила отдать его в детдом. Всю свою жизнь она была настолько жизнерадостной, любвеобильной, весёлой, что все деревенские бабы чуть ли не лопались от зависти к ней. Ревнивицы подозревали, что их ветреные мужья являлись отцами детей Аннук. То есть получалось, что каждый из пятерых малышей Аннук как бы имел несколько биологических отцов. Более того, аналыкские мужья не стеснялись при выяснении отношений со сварливыми жёнами ставить в пример трудолюбивую, покладистую, красивую и никогда не унывающую Аннук, чем вызывали у своих «половинок» брань и оскорбления в адрес «блудницы». Женщина не обращала ни малейшего внимания на разные слухи и намеки, в поте лица трудилась в колхозе, вела себя достойно, а бабам с чересчур длинными и ядовитыми языками мстила довольно оригинальным способом: просто-напросто совращала их мужей, оставляя у себя на ночь. Мужик – это существо вообще падкое на женщин, а перед разбитной Аннук и вовсе никто устоять не мог.

Вот эта Аннук и рассказала мне об одном из тех, кто мочился на икону. Впрочем, я и сам хорошо помню этого парня. Был Иван здоровый, сильный, косая сажень в плечах, но грубый до бесстыдства, невоздержанный на язык, беспардонный по отношению к женщинам. Многие бабы жаловались на его дерзкие, непристойные выходки. «Я собственными глазами видела, как Иван мочился на икону, – рассказывала мне Аннук, – как сейчас помню: на иконе была изображена Мадонна, кормящая младенца. У молодой матери были прекрасные глаза, с мольбой устремлённые на небо, к Всевышнему. И вот этот

Иван с гомерическим хохотом мочился на нежное лицо Мадонны, её белые груди, к которым приник очаровательный ребёнок. Я тогда сама кормила грудью своего первенца, поэтому меня едва не стошнило от такой чудовищной выходки Ивана. Признаюсь, что мне было вдвойне, тройне тяжело, потому что я втайне любила этого зверя, несмотря на его отвратительный характер. Наверное, я, как и всякая женщина, восхищалась его физической силой, богатырским ростом, и даже его грубость напоминала мне грубость воина. В общем, мне тогда стало дурно, и я поспешила выйти из церкви и вернуться домой, обняла своего ребёночка и проплакала часа три кряду. Так закончилась моя «любовь» к Ивану, а на смену пришло чувство ненависти ко всем мужчинам вообще. Иван тогда ещё не был женат, и вот однажды вечером он пришёл ко мне и заявил, что готов взять меня в жёны вместе с ребёнком. Я ответила, что не выйду за него замуж даже в том случае, если мне всю жизнь суждено будет прожить без мужа, хоть и самого завалящего. Иван со свойственным ему цинизмом заявил: «Тогда давай просто так жить, то есть встречаться». Я выхватила из жарко натопленной печи, где собиралась выпекать хлеб, раскалённую кочергу и прогнала домогателя взашей. Не думай, дядя Джагур, что я со всеми мужчинами такая недотрога. Ну, а потом... Потом этот Иван женился, и к началу войны у него было уже двое детей.

Довелось нам ещё раз встретиться наедине. Произошло это много лет спустя, уже после войны. Сам знаешь, Джагур, этот Иван вернулся после войны с орденами и медалями, в звании офицера. Не мне тебе объяснять, что война запросто могла превратить «правильного» партийного чинушу в предателя, а «несознательного отщепенца» – в героя. Таким героем стал и Иван, которого некогда презирали всем селом. И вообще, после войны все мы как-то сблизились друг с другом, потому что ни одного из нас не обошла стороной беда. Мы спасали друг друга от голодной смерти,

а детей – от сиротства, и все тосковали по ушедшим на фронт близким, так же, как наши близкие тосковали по нам. Война сблизила, породнила нас всех. Верно говорят, что предвоенное поколение – особое. Словом, ненависть моя к Ивану поутихла, да и неудобно как-то презирать героя войны. Бог с ним... Тем более что он после возвращения сильно изменился, сам не свой стал. Ходил какой-то печальный, замкнутый. Честное слово, я иногда даже жалела его.

Однажды нас вдвоём отправили на Колмаксары, на обмолоте зерна не хватало людей. По пути он решил накопить немного травы, чтобы легче было сидеть в телеге. Он навалил на телегу охапку душистой травы и как-то странно посмотрел на меня. Ну а язык у меня, сам знаешь, бойкий. Решила я подкопнуть нашего «героя».

– Что? – говорю. – Вспомнил тот день, когда домогался меня? Жалко, небось, что не получилось?

– Нет, – отвечает он. – У меня теперь вообще не бывает таких мыслей. Просто я люблюю твою красотой.

– Так-таки и не бывает греховных мыслей? – я продолжала куражиться. – А чего же ты тогда так глубоко дышал, а?

Вдруг он потемнел лицом, сжал свои огромные кулачища и процедил сквозь зубы: «Пуля фашистская как раз в то причинное место угодила, сволочь...»

И он так стукнул по бортам телеги, что лошадь в испуге присела.

Вот так, Джагур. А ещё говорят: Бога нет. Как бы не так. Страшный грех совершил Иван, и страшную кару послал на него Бог».

Так закончила Аннук свой бесхитростный рассказ.

Что касается церкви, то её обобрали вчистую, оставив голые стены, а колокол сняли и повесили на пожарную каланчу. Колокол был голосистым, его перезвон слышали далеко в округе. Церковный колокол долго служил делу противопожарной безопасности, но несколько лет назад вдруг исчез, словно и не было его на каланче. А колокол

был большущий, не один пуд весил. Его могли увезти разве что на грузовой машине. Возможно, таким образом и похитили колокол по заказу какого-нибудь подпольного коллекционера старины. Кто знает... А на маленький медный колокольчик никто не позарился, он до сих пор верой и правдой служит сельчанам, вернее, их детям, возвещая в школе о начале или конце урока, созывая их на линейки и другие мероприятия.

В тридцатых годах в нашей деревне построили большую двухэтажную бревенчатую школу-десятилетку (к сожалению, несколько лет назад её переименовали в восьмилетнюю – детей в деревне поубавилось). Прошли годы, школа обветшала (у бревенчатых двухэтажек век недолог) и уступила место новому зданию из бетона и стекла. В нём установили мощный электрический звонок, но по-прежнему первый звонок для первоклассников и последний – для выпускников не обходится без того старинного, со старославянской вязью, маленького церковного колокольчика. Как часто мы, умудренные жизнью и убеждённые сединами мужчины, вспоминая школьные годы чудесные, снова будто слышим в ушах звонкий голосочек медного церковного колокольчика.

Впервые годы советской власти появилась традиция всей деревней отмечать разные официальные праздники. Как раньше всё село прихорашивалось к религиозным или национальным праздникам, так и сейчас – к советским. Особенно помпезно проходили дни выборов. В день выборов молодёжь с утра каталась по деревне на лошадях, украшенных вышитыми платками, разноцветными лентами, под звон прикреплённых к дуге колокольчиков, от которых просыпались те, кто ещё не успел проснуться. А ребяшня и молодёжь спешили надеть праздничную одежду и высыпали на улицы. В день выборов люди постарше и посolidнее отправлялись на участок не пешком, а в собственных или наёмных экипажах. На каждом сельском перекрёстке играла гармонь, пела и плясала вся деревня. На клубе,

сельсовете, школе, магазине и других зданиях развевались красные флаги и висели плакаты с лозунгами. Сельские активисты старались водрузить красные стяги на самые высокие строения деревни.

В угаре такого энтузиазма наш Василий, тот самый, кто был первым комсомольцем на селе, чуть было не лишился головы. Дело в том, что, как я уже говорил, самым высоким строением в деревне была, конечно, церковь, возведённая на горе и видная далеко на несколько километров в округе. И вот Василий украдкой от жены взял её новенький – на выход! – красный кашемировый платок с целью прикрепить его на церковный купол. Уму непостижимо, как он смог добраться до самого купола, куда маляры и позолотчики поднимались только с помощью особых приспособлений. Как бы то ни было, а Василий докарабкался до купола без всяких спецсредств и привязал к позолоченному кресту красный кашемировый платок-флаг – символ безбожной советской власти. Снизу сразу же заметили изменение в привычном облике церкви. У людей религиозных, а таковым было большинство сельчан, вид красного флага на святом храме вызвал приступ праведного гнева. «Когда церковь потрошили и глумились над ней, мы терпели, хотя видит Бог, как тяжело нам было, – говорили бородатые мужики. – Но мы не потерпим тряпку безбожников на святом кресте!»

Кто-то наиболее горячий вынес из дома охотничью двустволку и устремился к церкви. За ним хлынула целая толпа. Василий сверху всё увидел, и догадался, по чью голову несётся вооружённый отряд. Он быстро прикрепил флаг к кресту, а сам спрятался внутри купола. Когда божьи воины поднялись на гору, Василий начал осторожно спускаться вниз. Дюжие мужики, полные решимости прибить наглеца до смерти, расхватили тяжёлые гири (церковь в то время исполняла обязанности колхозного амбара) и молча полезли наверх. Что оставалось делать бедному Василию? Внутри купола для крепости сте-

ны были прибиты толстые, как брёвна, перекладыны, обтёсанные плотниками до совершенной гладкости. Для того чтобы не дать поймать себя рассвирепевшим мужикам, Василию нужно было каким-то образом забраться в самую середину нагромождения из толстых и гладких перекладин, находящихся на высоте сорок метров. Он хотел отсидеться там, пока мужики уgomоняться и уйдут восвояси. Мужики действительно побоялись забраться на перекладыны, опасаясь сорваться, они остановились и принялись совещаться, как бы полочеe расправиться с «антихристом». А тут к церкви подоспела группа сельских активистов и партийных руководителей, которые и спасли от самосуда несчастного Василия, к тому времени уже готового вспомнить давно забытое «Отче наш». А кашемировый платок нашей Пикылы так и остался на позолоченном кресте поруганной церкви. Никто не отважился забраться на купол, чтобы отвязать платок и вернуть его законной владелице. После выборов попросили самого Василия снять с купола злополучный платок, но он начисто лишился прежней лихости и почти альпинистской сноровки. Василий испуганно замотал головой и признался: «Мне теперь не то, что на церковный купол, на копну сена залезть боязно, ребята». Пикыла, конечно, ещё долго пилила своего муженька, загубившего её новенький кашемировый платок.

А кашемировый «флаг» трепетал на куполе ещё несколько месяцев, а потом стал линять, выцветать и выгорать с такой быстротой, что недели через две превратился в совершенно белый флаг. Партийный актив всполошился: «Как же так, а? Это ведь белый флаг, получается? Не дай бог, придут из центра и увидят это безобразие...» К счастью, кашемировый платок, видимо, подвергся таким испытаниям под ветрами, дождями и прочими жизненными невзгодами, что очередной ветреной ночью просто-напросто исчез.

Как известно, в досоветскую эпоху в церкви заводились и хранились все

бумаги и документы, касающиеся жизни села. Кто когда родился, имена родителей, год крещения, имена крёстных, свидетельства о венчаниях и смерти, метрики, различная церковно-приходская документация – всё это хранилось в церкви, в огромном обитом железом сундуке. До революции никто из сельчан не нуждался ни в каких документах, потому что им не надо было получать зарплату или выработывать «трудодни». Крестьянин жил своим хозяйством, своим трудом. Ему не обязательно было также знать дату своего рождения, заботиться о трудовом стаже, потому что никто ему пенсию давать не собирался. Таким образом, в досоветскую эпоху лишь один раз в несколько десятков лет, то есть во время переписей, узнавали, где и сколько людей живёт. Зато количество голов скота и размеры земельных наделов пересчитывались и уточнялись ежегодно, ибо государство строго следило за взиманием налогов.

Пословица «Без бумажки ты букашка, а с бумагой – человек» родилась, наверное, уже в первые годы советской власти, когда везде и повсюду спрашивали документ, дотошно интересовались твоей личностью. Может быть, некоторым и льстило такое внимание новых властей, не знаю, только теперь даже внутри села невозможно стало передвигаться без этой самой «бумажки». Никак нельзя, например, убедить соседа, бок о бок с которым прожил всю жизнь и который теперь сидит в правлении и «начисляет» пенсии, сколько лет я, его давний сосед Джагур, работал и где. Нет, сосед, конечно, всё про меня знал, но требовал подтверждающие документы. «Я лучше тебя самого знаю, Джагур, где и когда ты работал, но ты, будь добр, принеси бумажку соответствующую, без этого никак нельзя». И я тогда волей-неволей с тоской вспоминал то время, когда никто не нуждался в этих мало понятных бумажках, на которые едва ли не молится нынче вся страна.

Когда «потрошили» церковь, шустрая ребятня проникла в контору,

вскрыла сундук с архивом и, подражая взрослым, стала рвать и разбрасывать по деревне церковные бумаги с воплями: «Долой религиозные книги!» Наиболее дальновидные из сельчан советовали сохранить церковно-приходскую документацию для создания нового архива в сельсовете. Но опьянённые «свободой» активисты резко воспротивились: «Ну уж нет! Ни за что не позволим клерикальным пережиткам прошлого осквернить святая святых революции – сельский совет!»

Но когда сельсовет начал работать по-настоящему, то есть как наделённая властью административная единица, сразу же дала знать о себе острая нехватка архивных материалов. Увы, ключья церковной документации давно были развеяны ветрами революции, не сохранился даже сам сундук, кем-то, видимо, «экспроприированный». Поэтому в деревне создалась такая ситуация, что, например, большинству моих сверстников не были известны имена их дедов и бабок, а также года рождения родителей, а тем более родственников. Я несколько лет назад похоронил свою старую мать, пусть земля ей будет пухом, и никто из нас, её детей, не знал точно, сколько же ей было лет. Знали, конечно, что прожила она очень-очень долгую жизнь, пережила всех своих сверстниц, но год её рождения так и остался тайной, исчезнувшей вместе с церковным архивом. Помню, мы не раз спрашивали маму: «Мам, ну вспомни, в каком году ты родилась? Может, бабушка с дедушкой говорили тебе о каком-нибудь событии в том году? Постарайся вспомнить!» «Мама родила меня в разгар уборки проса», – только это и вспомнила наша старенькая родительница.

Расправившись с церковным имуществом, утварью и архивом, народ немного приутих, но, как оказалось, ненадолго. Однажды кто-то принёс весть, что в мусульманских сёлах стали спиливать с мечетей минареты. Через несколько дней слухи подтвердились. Соседние мусульманские сёла уже лишились минаретов. Один из наших активистов

специально пошёл в соседнее Сарабиккулово понаблюдать за процессом низложения некогда гордого и высокого минарета. Позднее кто-то из образованных говорил, что на чердаке именно этой, сарабиккуловской мечети была обнаружена рукопись книги средневекового болгаро-татарского поэта Кул-Гали «Кыйсса-и Юсуф» («Сказание о Юсуфе», кстати, тот самый экземпляр, который научно обработал поэт и историк Утыз Имяни – Г. Р.). Мне кажется, что сарабиккуловские активисты в антирелигиозном угаре зашвырнули все приходские бумаги, в том числе и рукопись древней поэмы, на чердак. Это ещё хорошо, что на чердак, туда хоть дожди и ветер не проникают. Если бы в Сарабиккулове и в других мусульманских сёлах развеяли по ветру разорванные в ключья «клерикальные» писания, как это случилось в нашем Аналыкe, татары не досчитались бы многих редких рукописей.

Как рассказывал позднее наш «наблюдатель», свалить с мечети минарет оказалось не таким уж трудным делом. Несколько вожжей связали в длинный канат, зацепили их за минарет, а с другой стороны подпилили прямо у основания крышки. Минарет упал туда, куда его потянули мужики. На крыше осталась лишь большая рваная дыра, окутанная клубами вековой пыли, а сам минарет со страшным шумом и треском, под визг детей и улюлюканье толпы упал на землю под ноги своим бывшим обожателям и нынешним убийцам.

Противоминаретное движение ширилось день ото дня. Настал черёд и для купола нашей церкви. «В соседних сёлах все минареты поскидывали, а наш купол с горы за десятки вёрст видно», – встревоженно зашептались активисты. – Не ровён час, приедут из центра, увидят, что за безобразие у нас тут творится».

Решили спилить купол, как в соседних деревнях спиливали минареты мечетей. Собрали со всей деревни вожжи, связали длиннющий аркан. Построили лестницу, чтобы взобраться на купол и

окутать его арканом за основание креста, куда когда-то привязывал кашемировый платок своей жены неугомонный Василий. Но оказалось, что метод распилки минаретов не подходит к куполам православных храмов, потому что купол представляет собой неразрывный с основным строением сруб. Отказавшись от пилы, мужики попробовали скинуть купол с помощью канатов и арканов, но он даже не шелохнулся, а вот один из арканов лопнул. И мужики повалились друг на друга. После этого начали разбирать сруб купола, сорвав перед этим жестяную крышу и золочёный крест на его макушке. При разборе сруба стало понятно, почему купол так устойчив. Мастера-строители укрепили брёвна в разных пазах, связали их хитроумными «замками», так что никакими арканами свалить купол не представлялось возможным. К тому же брёвна оказались необычайно крепкими, но настолько усохли, что весили уже вдвое меньше первоначальной массы, теперь их можно было без всякого усилия поднять одной левой рукой. От стука по куполу брёвна начинали так тонко и красиво звенеть, хоть бери и делай из них скрипки!

Без купола наш храм и впрямь стал похожим на лишённую минарета мечеть.

Мужики, естественно, позарились было на разобранные брёвна, но руководство посчитало, что они должны перейти в коллективную собственность. Брёвна свалили у здания сельсовета, а спустя некоторое время вновь собрали в купол и перенесли на колхозную пасеку, что в Ачелекском лесу. Таким образом, церковный купол, напоминавший шлем былинного богатыря, стал исполнять обязанности омшаника Ачелекской пасеки и служил в этом качестве до последних лет. Правда, его не раз ремонтировали, заменяли подгнившие венцы, переделывали крышу, и всё же и теперь в этом омшанике безошибочно можно было узнать бывший купол православной церкви. Купол ещё стоит, держится, хотя некоторые брёвна уже

основательно подгнили. Интересной оказалась судьба нашей церкви, основание и стены которой давно уже разобраны или уничтожены, а купол – вот он! – всё ещё стоит.

После расправы над куполом атаки на церковь прекратились. Рваную дыру в крыше наскоро залатали, забили жестью и превратили здание в колхозный амбар, где хранились мешки с мукой и некоторые товары, привезённые для деревни из райцентра.

И вот тогда, когда местные власти, казалось, оставили в покое выпотрошенную и обезглавленную церковь, сельчане снова проявили интерес к «бесхозному» строению. Аналыкцы рассуждали примерно так: попов из деревни давно выгнали, религию от власти отъединили, а народу популярно и наглядно объяснили, что им нечего опасаться кары Господней, потому что Бога как бы нет. Значит, с бывшей церковью можно делать всё, что захочется. Но так как внутрь церкви-амбара нельзя было проникнуть, как бы того ни желали сельчане, то уже никто не запретит подойти к ней, так сказать, с внешней стороны.

Дело в том, что в деревне вновь вспомнили легенду о закопанном в основании церкви большом кресте из чистого золота, и каждому аналыкцу захотелось разжиться кусочком золота. С разных сторон фундамента стали появляться следы подкопов: народ искал золото! Впрочем, были и более старые следы подкопов, назначение которых вскоре прояснилось. Как я уже говорил, фундамент и даже пол-церкви были сделаны из белокаменных плит. Мужики по ночам стали выпиливать эти плиты для своих хозяйственных нужд, надеясь со временем добраться и до золотого креста. Но выпиливать эти камни из фундамента было очень трудно, поскольку, как говаривали старики, прежние мастера добавляли в цементирующий раствор свежие яйца и сахарный песок, которые придавали фундаменту необычайную монолитность. Мужики слушали стариковские байки и недоумённо чesали затылки. Против куриных яиц они

не имели ничего против, этого добра в каждом дворе хоть отбавляй, но чтобы в раствор добавлять дефицитнейший по тем временам и очень дорогой сахарный песок, — это никак не укладывалось в их головах.

Фундамент церкви был высоким и обширным по площади, так что работы местным камнедобытчикам хватило на много лет. Но никому ещё не попадался на глаза легендарный золотой крест. Впрочем, во время войны и первые послевоенные годы «разработка» церковного камня приостановилась по объективным причинам. В те годы строительство на селе вообще прекратилось, народ работал на фронт, а потом на восстановление народного хозяйства, и ему было недосуг заниматься поисками полумифического золотого креста.

А вот позже разобрали всё-таки последние камни в основании прежней церкви. Лишившись фундамента, церковь осела, скосбочилась, но пока стояла с грехом пополам, издали напоминая несуразное огородное пугало. Подмытое со всех сторон дождевыми водами, сотрясаемое ветрами, здание бывшей церкви стало представлять угрозу для

здоровья и жизни людей. Здание-инвалид качалось и жалобно стонало от малейшего дуновения ветра, крыша сгнила и грозила вот-вот обвалиться. В один прекрасный день к опустевшему, умирающему зданию бывшей церкви, добродушно урча, подъехал бульдозер, за рычагами которого сидел председатель сельсовета Унтый Микайласы (то бишь Антонов Михаил), и одним махом поставил точку в многострадальной судьбе старинного деревенского храма. В тот же день выяснилась и правда о легендарном золотом кресте. Когда нож бульдозера сровнял с землёй останки церкви, сельчане раскопали место, где стоял алтарь, и ахнули, увидев крест. Он был не золотой, а железный, небольшого размера. Мужики на всякий случай поскоблили крест и окончательно убедились, что он из обыкновенного металла.

После того, как бульдозер сровнял с землёй храм божий, наша деревня, вероятно, стала выглядеть так, как во времена наших предков, которые в незапамятные времена пришли в долину, где не было ещё ничего святого: ни церкви, ни мечети...

